Одинокий пишущий человек

Автор:
Дина Рубина

Одинокий пишущий человек

Дина Ильинична Рубина

Большая проза Дины Рубиной

«Одинокий пишущий человек» – книга про то, как пишутся книги.

Но не только.

Вернее, совсем не про это. Как обычно, с лукавой усмешкой, но и с обезоруживающей откровенностью Дина Рубина касается такого количества тем, что поневоле удивляешься – как эта книга могла все вместить:

• что такое писатель и откуда берутся эти странные люди,

• детство, семья, наши страхи и наши ангелы-хранители,

• наши мечты, писательская правда и писательская ложь,

• Его Величество Читатель,

• Он и Она – любовь и эротика,

• обсценная лексика как инкрустация речи златоуста,

• мистика и совпадения в литературе,

• писатель и огромный мир, который он создает, погружаясь в неизведанное, как сталкер,

• наконец, смерть писателя – как вершина и победа всей его жизни…

В формате pdf A4 доступен издательский дизайн.

Дина Рубина

Одинокий пишущий человек

У искусства есть два самых опасных врага: ремесленник, не озарённый талантом, и талант, не владеющий ремеслом.

Анатоль Франс

Художник не должен идти по трамвайным линиям.

Виктор Шкловский

© Д. Рубина, текст, 2020

© ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Нормальный творческий процесс, или «На черта ты припёрся?»

Много лет я обдумываю странную книгу, для читателя, может, и скучную: книгу про то, как книги пишутся.

По выходе очередного романа или сборника рассказов мне приходится отвечать на вопросы множества журналистов. Кроме банальных, дурацких или «по женской теме», среди них случаются толковые и каверзные – о том, что писателя волнует больше всего на свете: вопросы о профессии. От них не возникает желания отмахнуться, наоборот: ты застреваешь на них, задумываешься… удивляешься или даже сердишься, но волей-неволей отвечаешь заинтересованно и откровенно.

Недавно пересмотрела несколько любимых фильмов Феллини, в том числе «Интервью».

Когда смотришь знакомую чуть ли не покадрово картину, то обращаешь внимание не на сюжет (который у Феллини всегда третьестепенен), даже не на игру замечательных актёров, а на блики утреннего солнца в окне трамвая, тарахтящего по рельсам в Cinecitt? Studios, на толстый живот помрежа и на лужи после ливня. Но главное, ты чувствуешь, как минута за минутой в тебя втекает некая волшебная субстанция подлинного искусства, описать которую трудно, а объяснить практически невозможно.

И я подумала: вот примерно так надо бы писать свою книгу о книгах – чтобы в ней бегали дворовые собаки, падали фанерные декорации, ковылял с палочкой на протезах мой собственный дед; чтобы целиком выпадала наружу от толчков ташкентского землетрясения стена дядькиного дома, слепленного из саманного теста; чтобы с крыльца медленно стекала полуденная тень от яблони и стрекоза висела над лужицей пролитого молока; чтобы играла, вопила и дралась дворовая ребятня. А посреди всей этой густой-пахучей-разновсякой жизни стоял бы сам автор и невозмутимо отвечал прямо в камеру на вопросы о стиле, о литературных героях, о замысле и финале книг, о случайностях и закономерностях в ремесле; о детстве и судьбе, о снах, о любви и неизбывной тоске художника.

О рождении и смерти, наконец.

Ведь писателю на протяжении творческой жизни в каждой книге приходится отвечать на эти вопросы…

* * *

Так уж совпало, что предложение от издательства «МИФ» написать предисловие к пособию для начинающих литераторов пришло в то время, когда я читала книгу Харуки Мураками «Профессия – писатель», примериваясь к мысли написать нечто подобное – на собственном, разумеется, опыте.

И потому, улыбнувшись очередному совпадению в своей жизни, сразу ответила – да-да, любопытно, почему бы и нет. Мне прислали рукопись: Доротея Брандт, литературный критик и редактор… Написана книга в Англии, чуть не сто лет назад.

Для начала я полезла в Интернет и обнаружила, что подобных книг о писательском ремесле написано немало и писателями, и литературоведами, и критиками, и прочими пастухами обширного стада особей, производящих разные тексты. Причём самые толковые из них написаны именно «подспорным персоналом литературы» – редакторами и издателями. И это объяснимо: им в нашем деле всё понятно, они более тверды в законах, по которым якобы создаются литературные произведения. Там, где творец на извечный вопрос «как это сделано?» растерянно хмыкнет «не знаю» – не потому, что не знает, а потому что нельзя разъять и расчислить наитие и мастерство, – литературный персонал бодро впишет диагноз, поставит капельницу и удалит половину печени.

К тому же профессиональный писатель, рабочая лошадка, не торопится взвалить на себя эту тяжкую ношу: учить новичка сотворению мира. Писателю своей головной боли хватает. Тот же Харуки Мураками подозрительно много места в своей книге уделяет пользе бега трусцой, словно, только надев трусы и сорвавшись с места, начинающий литератор преуспеет в деле сочинительства. Между нами говоря, мало чем смог бы разжиться у Мураками-сан литератор-новичок. Видимо, мэтр и сам не слишком верит в то, что человека можно научить писать талантливые книги.

Мне вспоминается фильм, снятый к юбилею писателя Леонида Леонова. Родился тот на излёте девятнадцатого века, умер глубоким стариком на излёте века двадцатого. Крупнейшая фигура в советской литературе: Герой Соцтруда, заслуженный деятель искусств, автор множества книг, вполне читаемых. Между прочим, выдвигался на Нобелевскую премию, а прозаиком был мощным, глубоким. И фильм получился интересным, в жанре «беседа с мастером».

Но самая фишка таилась в последнем кадре. Интервьюер задал маститому писателю вопрос (цитирую по памяти, может, и неточно): «Леонид Максимович! Вы работаете в литературе шестьдесят лет. Что бы вы хотели сказать молодым литераторам, кто только вступает на путь сочинительства?» После чего зависла пауза… Старый, очень старый человек смотрел в камеру немигающим взглядом. Камера приблизилась к его лицу настолько, что стали видны глубокие морщины и глубокие цепкие глаза. И длилось это долго… так долго, что мне показалось – может, компьютер завис? Наконец старик разлепил губы и медленно произнёс: «Ничего…»

Я даже вскрикнула от восхищения!

Таланту научить, конечно, нельзя, но профессию – какие-то её очевидные принципы и зачатки – передать можно. Годах в восьмидесятых один инсценировщик, крепкий середняк, по доброте душевной учил меня писать пьесы. Драматургия, говорил, это пустяк: «Завьязка-кульминация-развязка-всё! А драматических ситуаций (известный Закон Польти) существует только тридцать шесть».

Это верно: каноны, приёмы, натруженные схемы – обиходный набор отмычек крепкого середняка.

Но в один прекрасный день является синий от татуировок хмырь с косячком марихуаны в зубах, и в его текстах все каноны, схемы и приёмы летят к чертям, и всё неправильно, и всё – ошеломительно!

Сложная, если вдуматься, задача – быть литературным наставником. У каждого такого наставника свой опыт и свои взгляды на то, как следует писать книги. Я думаю, на ранних этапах сочинительства более полезна компания таких же начинающих, как и ты, наглых и юных олухов: чтение текстов вслух, бурные споры, перебранки, пиво, манифесты…

В молодости всё это очень заводит, и всё по плечу. Из молодости, как из свежего граната, можно выжать куда больше рубинового сока любви и ярости, неистовых страстей – всего, что питает литературу. Если в молодости ты не сметаешь на своём пути всех на свете наставников, все теории, советы, каноны, приёмы… – грош тебе цена, причём как в молодости, так и в старости.

Жизнь – потрясающая штука, если затевать её вовремя.

Словом, приступила я к чтению книги Доротеи Брандт и буквально на второй странице наткнулась на следующий пассаж: «По моему опыту, именно в этой сфере творчества целеустремлённый и дисциплинированный человек может добиться удивительных успехов в самые краткие сроки…» И дальше: «Те, кто страдает от периодов пустоты и тишины, когда на ум не приходит ни единая мысль или фраза, могут создавать подлинные шедевры, если «злые чары» на время рассеиваются…»

Я пришла в неистовое бешенство: да что, эта дама всерьёз решила, что научить писать прозу можно на курсах кройки и шитья?! И всё же, чертыхаясь и зачитывая мужу «перлы», продолжала читать дальше, дальше… пока не дочитала всю эту небольшую книжку до последнего абзаца.

Доротея Брандт оказалась непроста. Она – так по всему выходило – верила в разумное устройство мира. Более того: она верила в разумное устройство и благоустройство писательского занятия. Заботливо и терпеливо запихивала своих питомцев в «ряды состоявшихся художников слова»; вникала в бытовые, психологические, физиологические проблемы подопечных; утешала их, давая совет за советом: где писать, сколько чашек кофе выпить перед началом работы, как расслабляться, когда телега воображения безнадёжно застряла. И если отвлечься от всяких её смешных: «Просите в магазинах хорошую бумагу по шестнадцать фунтов. Если продавец вас не поймёт, ищите магазин получше», – следовало признать, что среди её советов, шаг за шагом, я натыкалась на те, с которыми была совершенно согласна.

У меня-то не было никаких литературных наставников.

Если бы я, как нормальные люди…

Если бы к сочинению текстов я приступила годам к тридцати, я бы тоже, возможно, всерьёз отнеслась к литературной учёбе, тоже пыталась бы искать какого-нибудь наставника в попытках выяснить: что делать с героем, сколько

прилагательных положено существительному и как уравновесить конструкцию сюжета. Но тот, кто заправляет наверху литературными судьбами, сгрёб меня за шкирку и швырнул в кипящий котёл советской писательской жизни. Там много чего варилось…

Это случилось, когда мне исполнилось шестнадцать. Произошло следующее: будучи безмозглым подростком и безбожной лгуньей, я наткнулась на журнал «Юность», в котором был опубликован крошечный – в колонку – рассказ некой ученицы восьмого класса. «Ха! – подумала я. – Она в восьмом, а я-то уже в девятом!»

Взыграли во мне амбиции…

«Юность» в то время был журнал мощно-тиражный и дико популярный: свежий номер прочитывался всем подъездом, потом передавался по цепочке не подписанным на него друзьям и родственникам, – так из месяца в месяц происходило тотальное окучивание населения прекрасным советским словом. К тому же публикации, в отличие от других журналов, там предварялись фотографиями авторов. Писателям нравится, когда их фото публикуют над рассказом или повестью: мы тоже люди, нам тоже охота покрасоваться. У меня к тому времени уже была понаписана чёртова уйма рассказов. Один из них я вложила в конверт и послала по почте самой длинной дорогой, денег-то у меня не было.

Я много раз писала и рассказывала об этой драматически-фанфарной истории в начале моей судьбы, и потому буду конспективно кратка: голубой тетрадке с моим рассказом, в сущности, была уготована участь полёта в редакционную корзину. Однако – редчайший случай литературной Золушки! – редактор юмористического раздела «Зелёный портфель» Виктор Славкин, в чьи руки попал конверт, распечатал его, принялся разбирать мой кошмарный почерк, счёл рассказик «смешным» и принял его к публикации. И моя шкодливая физиономия появилась в популярнейшем журнале. Так, говоря высоким штилем, взошла моя сомнительная звезда и завершилась моя жизнь.

В смысле – нормальная жизнь…

Когда твоя личность сияет трехмиллионным тиражом со страницы столичного издания, а морячки всех отечественных флотов и заключённые всех отечественных тюрем пишут тебе романтические письма с предложением «связать судьбу» – крышу, естественно, сносит довольно далеко. Это сегодня любая семиклассница помещает свои фотографии всюду – в Фейсбуке, в Твиттере-Инстаграме и где-то там ещё. А в незапамятные тихие бумажные времена моей юности… Словом, литература – опиум для народа, особенно для того, кто где-то что-то уже напечатал. Это сладкое слово «публикация»!

Я принялась заваливать журнал рассказами, их продолжали печатать.

Ташкентская литературная общественность не знала, как на это реагировать. Маститые писатели республиканского значения пребывали в замешательстве. Совсем игнорировать не получалось: столичный журнал, тираж, популярность. Принимать всерьёз – несерьёзно. Я проходила под снисходительным грифом «девочка небесталанная». Длинное бесцветное, как глист, слово.

В литературной среде боятся поощрять молодых. И это понятно: их поощришь, они сопьются или скурвятся. Много опасностей подстерегает молодой доверчивый организм. Но я к тому времени была неплохо тренирована, если не к славе, то к всеобщему вниманию, ибо регулярно показывалась на публике. Попробуй не покажись: полугодовой и годовой музыкальные экзамены, четвертные концерты, и всё – не на бабушкиной кухне, а на сцене, настоящей сцене. Актовый зал у нас большой был, народу набивалось прилично – всё же консерваторский питомник, спецмузшкола для одарённых детей. На всех официальных бланках написано: «для одарённых», понятно? Так что меня эти кислые карамельки с их сомнительным небесталанным поощрением нимало не трогали. Я и ухом не вела. Бестрепетная была девица. Строчила и строчила всё время, свободное от музыкальной учёбы. Объём произведений равнялся скорости письма, помноженной на площадь тетрадного листа.

Потом подруга Элка Фельдман привела меня домой к приятелю их семьи, влиятельному литературоведу Петру Иосифовичу Тартаковскому. Хлёсткий был, умный человек. Не сентиментальный. Мы вошли, по ташкентской привычке сняли туфли в прихожей. Он сказал: «Спустились с каблуков, и не стало женской стати». Странно, как впечатываются иные фразы в твой цыплячий мозг – на всю жизнь.

Пётр Осич прочитал мои рассказы, снисходительно похвалил (девочка небесталанная) и лично отнёс три-четыре рассказа в издательство «Ёш гвардия», что с узбекского переводилось – правильно! – молодая, конечно же, гвардия. И я вступила в её ряды. Книжечку издали.

Кому есть что сказать…

Симпатичная получилась книжка, с моим портретом на задней сторонке – серьёзным таким. Проникновенным. Я красиво сидела, томно положив щёку на ладонь. В этом возрасте только распоследняя дура не навесит на личность лирическую кисею.

Книга! Да знаете ли вы, что такое – Первая Книга?! Нет, вы не знаете, что такое Первая Книга с вашим именем на обложке. А на корешке – вертикаль букв, сложенных в ваши компактные имя-фамилию. Не то что червяком: До-сто-ев-ский… Да ладно иронизировать: этот восторг от свершения чуда, этот ореол счастья, этот олимп грядущей судьбы в мерцающей дали – они многого стоят!

Не так уж часто литературный успех обрушивается на юного автора гремящим фейерверком. Это бывает, конечно, но – на короткое время. Подлинный успех – это божество, которому надо приносить ежедневные жертвы напряжённой работой и отречением от многих удовольствий. В особенности это касается прозаиков. Работа у нас трудоёмкая, скудная на выходе. Горы слов отписать и перелопатить нужно, прежде чем вылупляется небольшая повестуха страниц на шестьдесят… Как это ни парадоксально, многое в жизни надо упустить, чтобы начать чего-то стоить в своей профессии.

А я продолжала строчить и строчить – приблудная от музыки шавка («мы гимназиев не кончали»), – юная задрыга в трёх миллионах экземпляров. У меня много чего имелось сказать этому миру. Как там говорил румынский художник Корнелиу Баба: «Кому есть что сказать, пусть скажет». Вы думаете, я дала бы кому-то себя учить – в то время?

Это сейчас я месяцами мучительно раздумываю над темами, к которым собираюсь подступиться: та устарела, на эту высказывался миллион гениев, та уже прорабатывалась тем-то и тем-то. А в мои безмятежные юные годы кто их во внимание принимал – тех гениев! Я тогда и сама гением была.

Так вышла вторая книга, уже потолще, с другим портретом – зимним-лохматым, в фальшивой дублёнке с романтично поднятым воротником. Называлась книжка тоже романтично – примерно так, как ежегодно называлась треть подобных книжек, издаваемых на неохватной территории Советского Союза: «Дом за зелёной калиткой». А две книги – это вам не кот начхал. Две книги – это солидный творческий багаж и основание прямиком двинуть в Союз писателей СССР.

Для поступления в Союз писателей нужны были две рекомендации. Одна сгодилась местная, от уважаемого пожилого ташкентского автора. Вторую следовало получить от какого-нибудь московского туза, да только где его взять? И тут свезло: в Ташкент приехал Владимир Амлинский. В те годы он был известным прозаиком, регулярно печатался в той же «Юности» и, кажется, даже состоял в редакционном совете журнала – словом, правильная кандидатура. За меня замолвил словечко тот же Виктор Славкин, и в назначенный час я появилась в вестибюле гостиницы «Узбекистон», куда поселили столичную знаменитость.

Амлинский скучал, развалившись в кресле. На столике перед ним стояла рюмка коньяку. Ему хотелось совершить паломничество на Алайский базар, накупить там лепёшек, дыню, винограда, шашлычка поесть – словом, вкусить те райские блага, ради которых в Ташкент и приезжали столичные литераторы. Вот где бедный северный человек ошалевал, стопорясь посреди фруктовых рядов, вдыхая пряный сизый дымок шашлыков, что стелился над мангалами.

«Ну, давай, читай, – сказал Амлинский. – Пару абзацев».

Я принялась читать, завывая и размахивая рукой. «Руки пианиста, – говорила моя учительница, – должны превалировать в облике. Они спасают любую идиотскую мысль». Вокруг меня крутилась гостиничная суета: галдели какие-то люди с чемоданами, уборщица возила швабру у моих ног, в динамиках плескались узбекские макомы… Кто бы другой стушевался, я лишь повысила

голос и рукой замолотила уже как мельница: это был выигрышный, на взгляд автора, диалог из повести, где взрослый внук препирается с бабкой на умеренно одесских оборотах.

«Стоп, – сказал Амлинский. – Что это значит: «красные от борща пальцы»?

«…от борща», – растерянно пояснила я.

«Почему они – красные?» – уточнил он, скучнея лицом.

«Ну, там же… свёкла, – промямлила я, – в борще».

«Вот и пиши: «свекольные пальцы».

Небо раскололось над моей творческой личностью. И тот, кто спихнул меня когда-то в мутный литературный водоворот, сверху, с Олимпа, что ли, посыпал свекольными пальцами щепотку разума и смысла на мою небесталанную макушку.

Оказывается, написанные строки можно улучшать, уточнять, подрезать, исправлять – вон оно как!

Потом я трижды переписала несчастную повестушку, полностью её загубив. Я упивалась возможностью углядеть и выцепить неловкие обороты, невнятные определения, ненужное многословие, – наслаждаясь и мучаясь над текстом, то мягким и податливым, то безнадёжно окаменелым. Да я с полгода вообще ничего не писала! – только переписывала и переписывала…

Владимир Амлинский начеркал мне на выдранном из блокнота листке рекомендацию в Союз писателей. На прощанье сказал: «Ты вообще-то девка огневая, небесталанная. Если сумеешь прикрутить огонёк под задницей, может, что-то с тебя и получится».

Это я сумела…

Это я всегда умела…

Пианистическая выучка, многочасовой терпеливый труд за клавиатурой – самое выгодное вложение в мою литературную судьбу, самое плодоносное наследство.

На моё несчастливое счастье, родилась я в семье с авторитарным отцом, деспотом – в отменно воспитательном смысле этого слова. Отец у меня был очень строгих правил господин. Да я и сама по этой части оказалась не лыком шита и с головой ушла в запой… как это получше-то сказать?.. иссушающей тяги к самовыражению через слово. С юности оказалась запряжена в тягловую эту повозку. И никакие любови, ни первый неудачный брак, ни рождение детей на моей рабочей готовности (вечной рабочей готовности!) – никак не сказались. То, что подспудно я считала проклятием своего детства, закованного в панцирь ежедневного долга, обернулось внутренней свободой творчества, работой взахлёб, бесконечным бдением над текстом, когда уже не замечаешь, что там – рассвело? стемнело? а который час? Когда чувствуешь только свою спартанскую собранность и волю, свою солдатскую выучку, долгий вздох – освобождение в конце проделанной работы и нетерпение в преддверии работы будущей. Вероятно, кто-то из психологов назвал бы это детской травмой принуждения к труду.

Полагаю, в этом – основная удача моей жизни.

Словом, в непристойно юные года меня приняли в Союз писателей СССР.

В Москве, в ТЮЗе была поставлена пьеса по моей повести «Когда же пойдёт снег?». Ну и всё такое прочее, о чём я уже писала раз двадцать в разных своих книгах.

После окончания консерватории я стала свободным литератором; никому не подвластной, вполне самонадеянной особой. Мне было чем гордиться – с шестнадцати лет я зарабатывала на жизнь сама, и зарабатывала тем, что хотела и умела делать: сочиняла и вела литературно-музыкальные передачи на радио; бесконечно выступала от «Общества книголюбов» перед самыми разными аудиториями – от питомцев колонии для малолетних преступников до

аспирантов Института русского языка и литературы. Вела литературное объединение. Переводила классиков узбекской советской литературы. И как в том анекдоте, в котором претендент на королевский трон собирался немного шить по ночам, – на полставки работала концертмейстером в музыкальной школе.

Так что учиться писательскому ремеслу пришлось самой, всё у тех же добрых старых учителей: Чехова, Бунина, Толстого, Набокова… да пяток любимых американских писателей, да кое-кто из англичан, да кое-кто из латиноамериканцев… Ну и ещё кое-какая неслабая компания.

И знаете, права, права Доротея Брандт, воспитатель плеяды упорядоченных талантов: в молодости, советует она, читать надо подряд всё, что подвернётся, – романы, повести, пьесы и стихи, неважно – плохие ли, хорошие. Как можно больше надо проглотить страниц, вчитать в себя чёртову пропасть слов, – впоследствии это пригодится. Впоследствии массы всякого-разного текста (крутого теста), как посеянные зубья дракона, взойдут самыми неожиданными всходами.

С осознанием качественной разницы между книгами моих литературных богов и моими собственными текстами пришёл страх, настоящий, пронизывающий: а ну как не получится? А ну как следующий рассказ, следующая повесть не напишется, не выйдет? И все увидят, все поймут…

Так оно и осталось на всю жизнь.

У каждого литератора есть в воображении собственные непокорённые вершины, которые он никогда не одолеет. Никогда. Хотя в любой его книге непременно окажутся несколько сцен, пара ярких характеров, десятка два описаний степи или моря, неба, леса и гор, за которые ему нигде и ни перед кем стыдно не будет. И это нормальный творческий путь, нормальное творческое состояние. Вечная история: страх писателя перед океаном уже написанных книг. Первая половина жизни – страх перед написанным, вторая половина жизни – усталость от написанного лично тобой. Об этом не предупредит ни в одном своём полезном пособии ни один добровольный инструктор по созданию гениальных литературных текстов. Он не напишет, как быть с ежедневной предрассветной тоской, ибо нет у него совета, что с этим делать.

Да и ни у кого его нет. И даже вскарабкавшись на вершину нового романа, ты не уверен, что она выше предыдущей. У тебя нет никаких гарантий. У тебя вообще ни черта нет, ты – гол как сокол. Как потопаешь, так и полопаешь. Тут главное – не струсить, а вовремя понять, что сюжетов в мировой литературе действительно совсем не так много и все они многажды переписаны; что суть драгоценной «живой воды» таланта, его живородящая суть – в неповторимой интонации авторского голоса. И чем более правдив этот голос, чем сильнее будоражит, тем большему числу людей необходим.

Никто из живущих не выдаст тебе сертификата на производство книг, и каждую следующую книгу ты начинаешь на свой страх и риск на пустом, выжженном бессонницей поле. А в наше время прилюдных и всенародных интернет-рецензий, в наше лихое время торжествующего плебса любой пролетающий мимо уха москит может прозудеть авторитетное мнение о твоей книге. И вполне возможно, что твоё присутствие в литературе не является обязательным для человечества. Как говорил кто-то из героев Майкла Маршалла Смита: «Если у тебя нет для меня интересной истории или стакана виски – на черта ты припёрся?»

В молодости ты страшно одинок наедине со всем миром. В случае писателя: наедине со всей мировой литературой – её гениями, вершинами, её негасимым блеском. Молодость всегда так опасна, так единственна, так умопомрачительно бесповоротна!

С годами я научилась лучше себя понимать, мириться со своим невыносимым характером; объяснила самой себе – что такое моя профессия, внушила себе, что в своей одинокой работе никому ничего не должна: ни читателям, ни коллегам, ни издателям. Теперь, когда у меня за плечами пятидесятилетний писательский труд, десяток романов, целый океан рассказов, новел и эссе… можно и старость встречать спокойно. Хотя и старость – она так опасна, так единственна, так умопомрачительно бесповоротна!

Любой писатель, учи его, не учи, в сущности Голый король, всю жизнь примеряющий новые и новые наряды, сотканные из его призрачных фантазий. Вот он идёт на виду у толпы – беззащитный, открытый нескромным безжалостным взглядам. Втайне он понимает, что абсолютно гол, и потому идёт

в своём новом платье (то бишь с новым романом) как в страшном сне, как на казнь – навстречу Суждению читателей, критиков, коллег, журналистов, друзей и врагов (что часто одно и то же). До возгласа маленького глупого паршивца: «А король-то гол!» – остаётся каких-нибудь сорок шагов, но король идёт…

Да, он гол – на ваш суетный взгляд, но даже прозрачный воздух, которым мы дышим, наполнен самыми разными элементами и организмами, и чтобы увидеть их, нужен окуляр того таинственного микроскопа, которым вооружён один на сотни тысяч людей: исследователь, творец, король!

Он идёт… На плечах его сверкают эполеты, на манжетах и воротнике золотятся брабантские кружева; султан его королевского убора величаво колышется над головой, а венецианская парча его плаща играет на солнце пурпуром и серебром. Он идёт сквозь толпу, ибо надеется – нет, знает, знает! – что где-то там, в тесноте, среди глазеющих обывателей непременно найдётся мальчик, который тоже видит королевский наряд во всём его призрачном, но изысканном великолепии, который не сводит взгляда с одинокой фигуры, что обречённо тащится вдоль толпы, жаждущей скандала, сплетен, клубнички – провала.

…Между прочим, Андерсен за свою сказку получил высочайшую королевскую награду: перстень с руки Его Величества; в те времена это равнялось какой-нибудь Нобелевской премии. Ибо заканчивалась сказка совсем не так, как привыкли мы читать в старом советском переводе. Настоящий её финал – в единственной фразе, которая полностью преображает смысл сей великой притчи.

Вот она, эта фраза: «А король шёл и думал: «Ничего я не взял у моего народа!»

Глава первая

Из чего сделаны писатели?

Я ещё не встречал человека, чьё детство не было бы сущим адом.

Марек Хласко. «Красивые, двадцатилетние»

– Д.И., герой любого вашего романа – homo memoria, человек вспоминающий. А воспоминания, особенно детские, это всегда прошлое, невозвратное, а значит, боль и грусть. Но и – нежность, и счастье, не правда ли? Помните английскую песенку в переводе Маршака: «Из чего только сделаны мальчики? Из чего только сделаны девочки?» Так из чего же сделаны писатели, откуда они берутся? И могли бы вы назвать своё детство счастливым?

– «Идите, идите, я подаю только по субботам», – так, кажется, Бендер говорил? Боюсь, я неважнецкий компаньон по умилённым воспоминаниям. Кого ни послушаешь, у него было волшебное детство. Но ведь растущий человек почти постоянно несчастен, ибо мал и уязвим. На него с огромной скоростью мчится гигантский пугающий мир. В детстве мы самые зависимые люди, да мы просто крепостные! Мы принадлежим: родителям, бабушкам-дедушкам, системе дошкольного, а потом и школьного образования. В отрочестве, как правило, все мы – отверженные, все мы – гладиаторы, ежедневно выходящие на бой со всем миром: с родителями, сверстниками, дворовыми врагами, учителями. Какое уж там счастье! Пусть даже ребёнок растёт в нормальной любящей семье, в свой срок он непременно столкнётся с паскудными нравами этого мира – во дворе, в детском саду, в школе. А уж я так ненавидела школу! Очень её не любила. И она меня не любила. Помните, у Марка Твена: «И никакая школа не помешает мне получить образование!» Я строптивой была, ускользала из любого коллектива, уклонялась от любого педагогического мероприятия.

Если рассматривать моё детство с точки зрения ролевых игр, я была шутом – удобная позиция в любом сообществе, особенно в тюремном и детском: есть надежда, что, отсмеявшись над тобой, тебя оставят в покое. Счастье, говорите? Оно тяготеет к осветительным эффектам, размывающим в кадре постыдные случаи и мелкий мусор. А писатели, они-то как раз и сделаны из тех самых постыдных случаев и того мелкого мусора.

Вообще, всё зависит от склада личности. От готовности или неготовности принять жизнь, какая тебе предложена. Есть люди с трагическим мироощущением вне зависимости от условий бытования. Они могут расти на вилле где-нибудь в Антибе, учиться в одной из самых дорогих школ, окончить Кембридж, жениться на герцогине Йоркской, ездить на кобыле стоимостью в восемьсот тысяч фунтов… И тридцати восьми лет от роду застрелиться в своём

кабинете за пятнадцать минут до ужина с королевой – от полной безысходности существования.

И наоборот: можно расти круглым сиротой в щелястом бараке, в свиных помоях, прожить тяжелейшую жизнь, похоронить троих своих детей… и при этом искренне считать, что «жизнь удалась», ведь главное, что тебя «люди уважают».

Детство писателя вне Википедии

Между прочим, сама я росла в семье, где родители представляли оба этих типа личности. Мать была ярким беспримесным сангвиником с постоянно прекрасным и деятельным настроением, что крайне утомительно для домашних. Все окружающие у неё были «милейшие люди», любая идиотская затея – «великолепная мысль», любое провальное дело всегда имело «свои положительные стороны». Отец же был деспотом, мизантропом и притом холериком.

Немыслимо было ему перечить в чём бы то ни было: он вспыхивал и в такие минуты становился страшен. Ни маму, ни нас с сестрой он пальцем никогда не тронул, но чайников о стены порасшибал немало (это было первым, что попадалось под руку: в Ташкенте заварочный чайник всегда стоит на столе). Наши стены вечно были украшены неприличными золотистыми потёками; весной мама энергично и весело их закрашивала – до следующего извержения вулкана.

Любопытно, что саму её все эти скандалы ничему не учили. Сейчас, будучи опытным в семейной жизни человеком, я пытаюсь понять: почему она не могла вовремя заткнуться? Промолчать, уйти в другую комнату – отец обычно быстро отходил от гнева… Может быть, её натуре недоставало какого-то излучения энергии, витамина бури? Может, её душа постоянно жаждала спектакля? Подступал момент, завязывалась ссора, вулкан начинал клубиться, отец закипал… мать пёрла напролом (кажется, она втайне ликовала).

Мы с сестрой шмыгали в свою комнатку, если успевали, или просто вжимали головы в плечи. И очередной чайник летел в стену, разбрызгивая заварку, осколки, ярость доведённого до ручки отца. Думаю, разбивая чайник о стену, он спасался от приступов ярости, так их гасил. Понятия не имею, как эти двое

существовали в закрытой от нас супружеской жизни, но знаю, что отец до конца обожал и страшно ревновал мать; она же всегда жила своей автономной, деятельной и наполненной жизнью.

Впрочем, и она по-своему спасалась от характера отца, частенько просто уматывая из дому, отгораживаясь от него какими-то потемкинскими деревнями. Тем более что, будучи преподавателем русской истории, знала много замечательных баек из эпохи русских царей и рассказывала их в самой непринуждённой полуинтимной манере, словно сплетню передавала. В детстве я считала, что Пётр Великий, Екатерина, Потёмкин, Павел Первый… – чуть ли не члены нашего семейного клана, что-то вроде дальних родственников. Уж больно скабрёзные, а иногда и страшные истории мама рассказывала о них, точно так, как рассказывала истории о безобразиях каких-то полузабытых семейных паскудников.

Её педагогическая широта и снисходительность не знали границ. «Натянула Саше Примакову годовую четвёрку, – говорила она. – Он весь год бездельничал и ни черта не знает. Но их бросил отец, и я решила подбодрить мальчика». Или: «Кире Оганесян выставила пятёрку. Она и на тройку не наработала, бедная. Но мама её доживает последние недели, когда там зубрить «Капитал»!»

Ученики её обожали. Сейчас эти уже пожилые люди разбросаны по разным странам и континентам (в конце прошлого века предприимчивые и непотопляемые ташкентцы в большинстве своём хлынули по разным эмиграциям). Выступая в каком-нибудь Ганновере или Сан-Франциско, Амстердаме или Питере, я слышу порой от человека, подошедшего подписать книгу: «А как там Рита Александровна, жива?» – «Жива, жива», – говорю. «Поклон передавайте. Невозможно её уроки забыть. Это был театр! Когда она рассказывала про убийство Павла Первого, она воздевала руки и, расширив глаза, бормотала: «…он услышал шаги на лестнице и всё понял! Вскочил с кровати! Бросился к камину, спрятался в нём… Но его босые ноги… – голос её поднимался, в глазах мерцал ужас, – …его босые ноги, не поместившись в камине, торчали из-за расписного шёлкового экрана! И в этот роковой момент… бледный свет луны озарил…» Мы все вскакивали со своих мест и смотрели туда, куда она указывала рукой – в пустой угол комнаты, словно могли там узреть босые ноги императора. Нет, вы не можете представить, что это было!»

«Почему же не могу, – думаю я, кивая и кротко улыбаясь, – если я в этом выросла?» Я и сама так умею. Я и сама унаследовала по материнской линии

толику цыганской тяги – рвануть куда глаза глядят.

У матери, с её учительским отпуском в сорок пять дней, эта цыганская страсть ежегодно приобретала широкий размах и волю. Мама преподавала в вечерней школе рабочей молодёжи при Октябрьской железной дороге и потому имела право на бесплатный железнодорожный билет, плюс ещё билет на одного иждивенца, то есть на меня. Другим иждивенцем была моя младшая сестра Вера, которой покупался половинный билет. При таких шикарных дивидендах мама готова была в любую минуту сорваться и нестись куда угодно, желательно подальше.

Отец оставался дома зарабатывать: в полном одиночестве, не выходя из квартиры, он клепал портреты членов правительства. Я не шучу и не сочиняю: полтора месяца он совсем не выходил из дому.

Сейчас я уверена, что моя способность принимать любой художественный вымысел за чистую монету коренится в детстве: в оригинальном укладе моего семейства и в яркой типажности обоих родителей. Никогда приключения Робинзона Крузо не казались мне чем-то из ряда вон выходящим; никогда не усомнилась в сорокадневном пребывании Иисуса в пустыне. Ну сидел и сидел. Вот папа же не высовывал из дому носа все сорок пять дней нашего отсутствия. Если бы папа оказался на острове, никакого Пятницы ему бы не понадобилось.

Вернувшись, мы заставали его, похудевшего, обросшего бородой, абсолютно умиротворённого и здорового. От топчана в мастерской вела на террасу двойная цепочка босых следов в густой пыли. Вдоль стен мастерской в три ряда стояли холсты на подрамниках: «бляди-кормильцы», как он их называл. (И действительно, эта летняя каторга чуть ли не на год обеспечивала прокорм семье, а отец мог писать любимые натюрморты и портреты жены и детей.)

Когда я рассказываю истории своего детства друзьям или кому бы то ни было, мне никто не верит, и каждый пытается уличить во вранье. «Ну уж мусор-то он выносил!» – говорят мне. «Нет, – отвечаю терпеливо, – ему было незачем». – «Но как же… лето, жара… вонь!» – «Нет, у него всё было технично продумано. Консервные банки он тщательно мыл. Органические отбросы измельчал и спускал в унитаз».

Мы действительно по приезде заставали на террасе два ведра, полные блестящих консервных банок.

«Пап, – спросила я однажды, – а куда ты арбузные корки деваешь?» Он был в хорошем настроении, объяснил. (Отец всегда всё объяснял подробно. Это он, а вовсе не мама научил меня читать и писать в три года.)

«Мелко режу и туда же, в унитаз».

«Но он же мог засориться?» – наморщив лоб, спросила я.

«Очень мелко режу», – пояснил он.

Чёрный дым наших странствий

Мать была неутомима, неугомонна и вечно воодушевлена…

Трижды за моё детство и отрочество летом мы отправлялись на поезде к чёрту на кулички – в Сибирь. Там в маленьком закрытом городе Ангарске жил мамин двоюродный брат дядя Лёня, майор в отставке. Грандиозный простор Байкала и мощь Ангары, курчавые от густой хвои сопки, – всё это впервые я увидела в детстве, так что красоты Швейцарии сорок лет спустя не произвели на меня ни малейшего впечатления. Нет такой красоты, какую вы не нашли бы на неохватных просторах Советского Союза.

Дорога была долгой и утомительной, но в те годы люди были и проще, и покрепче нынешнего народонаселения. Ехали четверо суток, через Семипалатинск, Барнаул… Пролетали неисчислимое множество полустанков, бесконечность казахстанских степей, косые серые деревни… и наконец влетали в дремучую древность неохватной тайги…

Очень полезные впечатления для цыплячьего мозга будущего писаки. По силе воздействия – как серия ошеломляющих оплеух: вот тебе! и вот тебе! и ещё вот так – по башке!

Я говорю о калибре, о масштабе детских ощущений; ведь это фундамент масштаба личности писателя.

В первый день поездки мы съедали классическую жареную курицу, затем лупили о столик не менее классические яйца… А после выскакивали на каждой станции купить арбуз-дыню, стакан семечек, банку малосольных огурчиков или пяток початков варёной кукурузы; во времена моего детства она была упругой, вкусной, зубастой, оплетённой какими-то нежными водорослями. Её посыпали крупной солью, втирая пальцами в початок, и она пахла морем…

За эти дни наши с сестрой физиономии быстро становились чёрными от паровозного дыма. После Барнаула в окна поезда ломилась хвойными ветвями тайга: кедры, лиственницы, ели и сосны… Я до сих пор обожаю запах летящей вдоль дороги хвойной бури; я до сих пор полна романтикой длинных железных дорог, томительных паровозных гудков, кошмарных вагонных туалетов.

Мама наслаждалась. Это была её стихия. Помню, однажды ночью она растолкала меня. Поезд стоял на забытом богом полустанке где-то на подъезде к Семипалатинску. В свете единственного тусклого фонаря за перроном проступали очертания глинобитного сарая, над просевшей крышей которого был растянут огромный, местами дырявый кумачовый транспарант: «Ленин жив!» (Ей-богу, угрюмая фантазия Кафки отнюдь не являлась откровением для человека, выросшего на просторах моей страны!)

«Ты только глянь!» – восторженным шёпотом воскликнула мама.

«…что-о… где-е…» – промычала я.

«Глянь, какая потрясающая лунища!» – тем же ликующим голосом выдохнула она. Я протёрла глаза: над идиотским транспарантом и вправду висела гигантская дымчатая луна с прожилками голубого агата, какой я больше нигде не видела.

Сама я, к сожалению, человек иного, чем мама, склада, но в трудные или противные времена жизни всегда озираюсь: где-то тут, надо всем идиотством, должна сиять потрясающая лунища! И знаете что – присмотревшись, я её

нахожу.

В этих длинных дорогах мы непременно обретали друга-попутчика: а как же, мы ведь занимали три полки в купе, и на четвёртой оказывался кто-то, кто в первые же полчаса растаивал в жаркой ауре маминого доброжелательного дружества и артистизма и за четверо суток совместного пути становился нашим другом навеки, так что потом много лет поздравлял нас открытками на Новый год, Восьмое марта или День космонавтики.

Провожая нас на вокзале, мой ревнивый отец всегда внимательно следил за тем, кто станет четвёртым в нашей долгой дороге.

Однажды четвёртый не появился. Вот уже по громкой связи велели всем провожающим выметаться из вагонов, уже проводница вышла и встала у двери со своим флажком, готовая дать отмашку. Уже папа облегчённо вздохнул, вытирая платком потный лоб… Последний звонок!

В этот момент у дверей вагона возникла странная зыбкая группа: трое собутыльников практически несли на плечах четвёртого. Мы с сестрой и мамой стояли у окна, с большим облегчением отмахивая ладонями полуторамесячный отпуск от тяжкой отцовой десницы. Мама в сотый раз докрикивала, в какой коробке в морозильнике – котлеты, а в какой – макароны по-флотски… Группа возникла в коридоре, волоча чье-то бездыханное тело. Отпрянув, в полной оторопи мы наблюдали, как «провожающие» втиснулись в наше купе, подняли покойника на верхнюю полку – башка у того болталась так, как никогда не болтается у живых людей, – и шаткой трусцой выбежали под вопли проводницы. Уже отъезжая от перрона, я заметила на лице уплывавшего прочь отца сложное выражение изумления и паники.

Алкаш оказался всё-таки живым – судя по храпу. Он даже повернулся с одного боку на другой. «До завтра проспится, – бодро сказала мама, – и вот увидите, окажется нормальным человеком». Забегая вперёд, скажу, что, как ни странно, так оно и вышло. Однако ночью произошло следующее. Поезд мчал – как обычно бывает ночами, – гулко раскачиваясь всем составом, угрожающе кренясь то вправо, то влево. Я – довольно тревожная девочка – почему-то решила, что спящий алкаш может свалиться, вот уже и рука его безвольно свешивалась с полки, качаясь в такт бешеной гонке. Я была начеку – кто знает, что от него

ждать! – но в какой-то момент всё же задремала, а проснулась оттого, что кто-то ласково касался моего лица. Я подпрыгнула и села… В синеватом фантастическом свете лампочки передо мной тихо струились бумажные деньги: много двадцатипятирублевых бумажек медленным призрачным листопадом валились откуда-то сверху… Если принять во внимание, что в то время я и так жила в собственном воображении, практически не высовываясь наружу (как папа в периоды сорокапятидневной халтуры), – можно вообразить моё лицо в этом вихре банкнот.

Наконец я поднялась, стала собирать купюры в пачку, оторвала половину промасленного от курицы газетного листа, обернула деньги и засунула обратно под матрас беспробудному алкашу. А утром он пробудился и – в точности по маминому сценарию – оказался милейшим Славой Большаковым, студентом-заочником Иркутского университета (если не путаю). Страшенные деньги он заработал на какой-то Янгиюльской стройке, вкалывая по десять часов в день. Вот только явно перебрал в вокзальном буфете, прощаясь с друзьями.

И трое суток мы прожили душа в душу. Слава выскакивал на стоянках и приносил всё, что мог там купить, от солёных огурцов до чёрной и красной смородины, категорически отвергая мамины попытки вернуть деньги… А потом, уже в Иркутске, водил нас на могилы декабристов, где мама устроила для нас, а также всех, кто оказался поблизости, показательный урок (вернее, просмотр), рассказав (вернее, показав), как казнили пятерых несчастных: как оборвалась верёвка и, вопреки закону, их повесили вновь. Как сказал по-французски то ли Муравьев-Апостол, то ли Каховский: «Несчастная страна! В ней и повесить по-человечески не могут…»

Когда умер отец, а мама безнадёжно заболела самой страшной, на мой взгляд, болезнью – потерей себя, я разбирала их квартирку в Иерусалиме. Администрация жилого комплекса потребовала освободить её от вещей. Вот тогда я наткнулась на давнюю открытку: «Дорогая Рита Александровна, поздравьте меня – я защитил диплом! Никогда бы не подумал, что переметнусь из Инженерии в Историю. Но то незабываемое общение с Вами, Ваша эрудиция и Ваша неисчерпаемая энергия и сердечность оказали такое впечатление на похмельную голову бедного попутчика, что это решило его судьбу. Здоровья Вам, радости! От всей души желаю, чтобы девочки унаследовали Ваш солнечный характер! Ваш преданный последователь Вячеслав Большаков».

Увы… Характеры, как и прочие «солнечные» причиндалы человеческой личности, не раздают в поездах дальнего следования. И не передают по своему желанию детям.

Обезьяны как важное звено эволюции

Счастливое детство? Хм… Моё детство – это постоянное ускользание, лавирование между Сциллой и Харибдой. Попытки спастись из перманентного кораблекрушения, непрестанное возведение башен, минаретов, айсбергов отчаянной лжи. Тут что важно: чтобы мать не приставала, а отец не заметил. Лично меня спасал талант. Яркий, могучий, непотопляемый талант к вранью. Как рыбу – пузырь, меня держала в детстве склонность к мгновенному придумыванию правдоподобной истории. Ложь как способ выживания – хорошее название для романа. Я была фантастической лгуньей. Вот где истоки настоящей школы творчества, вот где тренировка на многовариантность, многолинейность сюжета: ведь матери надо врать иначе, чем отцу! Тому, чему поверит мать, отец ни за что не поверит. Надо было просчитать ходы, сослаться на несуществующих свидетелей, сочинить убедительные детали, соединить версии, укрепить единую сюжетную линию, продумать пути отхода – если, например, в моё отсутствие нагрянет классная руководительница с интересным вопросом: почему третий день подряд меня нет в школе?

Да не могла я постоянно околачиваться в их долбаной школе! Мне нужна была свобода… головы. В этой голове много чего крутилось. Там скапливалось столько разных придуманных людей, существ, действий и ситуаций, что я стала записывать их в тетрадки (выписывать из головы, освобождать чердак, в ту пору довольно тесный). Меня обуревало стремление заполнить тетрадный лист буквами, словами, строчками! Помню, в то время я строчила сериал про арычных человечков: то была настоящая цивилизация – со своей наукой, своими войнами, любовными интригами, отдельными группами действующих и противодействующих сил… Короче, требовалось полное отключение от надоедного, напористого и утомительного мира.

Для полного уединения правильнее всего оказаться в толпе – лучше всего в зоопарке. Там, перед клеткой с обезьянами была замечательная деревянная скамья, укрытая узорчатой тенью от огромного карагача; да и обезьяны уже

знали меня в лицо и приветствовали оживлённым визгом. Много часов я провела, наблюдая за их компанией – на первый взгляд хаотичной, но если приглядеться… Там была одна юркая обезьянка-подросток, такая милая, такая дразнилка. Подбирала огрызки яблок и моркови, делала вид, что поедает их с удовольствием. Потом швыряла в чью-нибудь морду, получала оплеухи и тычки. Кажется, она тоже была шутом…

Лет через сорок пять эта самая обезьянка угодит в роман «Почерк Леонардо» – прямиком в Киевский зоопарк, где пятилетняя героиня гуляет с отцом, объясняющим ей теорию Дарвина. «И вот так обезьяна превратилась в человека!» – закончил папа. Дочь подняла на него глаза, спросила тихо, искренне: «А она не удивилась?»

В общем, прогуливая школу, я убедилась, что мы произошли от обезьян. Это было совершенно очевидным, и с тех пор никому ещё не удавалось сбить меня с панталыку. Хотя допускаю, что дальнейшая интеллектуальная карьера человека могла быть поощрением от Начальства.

Однажды, случайно обнаружив себя на вокзале, я уехала куда-то в пригородном поезде и весь день шлялась в каких-то полях или бахчах – то ли среди кукурузы, то ли среди арбузов и дынь, – размахивая руками, крича, рыча, хохоча и рыдая. Просто я проговаривала вслух разговоры моих людей…

Думаю, то был мало изученный синдром лунатизма в отсутствие луны.

В общем, беда: мама, Рита Александровна, – заслуженный учитель, уважаемый в городе человек. И такая вот, мягко говоря, странная её девочка. Хотя что: бывает, случается в приличных семьях и не такое.

Мама заглядывала в исписанные мною тетрадки (а сколько денег на них выброшено!), читала первое предложение, брезгливо морщилась и выбрасывала их в помойное ведро – пачками. А что с ними ещё делать – там же ни листочка чистого, даже для черновиков не сгодится. Короче, ребёнок тяжёлый, неудачный. Мама до сих пор изумляется, что я не вляпалась в наркотики и даже курить не научилась.

Чушь! Я была герметично защищена постоянной изнурительной работой воображения; моя башка была занята ежеминутным перевариванием мира и производством словесной трухи. Я была фабрикой по переработке жизни на словесный фарш.

Даже когда читала.

Особенно когда читала.

Правду говорить нелегко и неприятно; мало кто любит её слышать. «Подотрись своей правдой!» – кричал наш сосед дядя Миша своей жене, изобличившей его в чем-то там. И я представляла эту картину. Я с детства навострилась оживлять в воображении какие-то затёртые фразы и обороты и с тех пор никогда не бросала этого увлекательного занятия.

И до сих пор ужасно много вру, в смысле, сочиняю – в своих книгах, разумеется. Впрочем, легко могу соврать и в жизни, если требуется выскользнуть из чересчур тесно сомкнутых объятий: приятельства, соседства, читательской любви; журналистского или общественного ко мне интереса. Изменилось, в сущности, не многое: в детстве за выявленное враньё могли и из школы выгнать, сегодня мне пишут письма благодарные читатели.

Писатель – всегда обманщик, удачливый или не очень.

«Работай, негр!»

Отец работал дома. Самая удобная и светлая комната в нашей небольшой трёхкомнатной квартире была его мастерской. Вся прочая жизнь теснилась в гостиной и крошечной «детской». Впрочем, была ещё просторная терраса – ташкентская реалия, – где девять месяцев в году мы с сестрой спали «на свежем воздухе», практически на улице. Частенько я просыпалась, обсиженная пятью дворовыми кошками – животные меня любят.

Отец работал дома, он не терпел даже намёка на чужие голоса, и потому никогда – никогда! – мы с сестрой не могли, не имели права привести домой друзей. Дома должна была колом стоять кромешная тишина. Пишу без малейшего намёка на жалобу: я росла в этом и живу с постоянной жаждой тишины. У меня самой в доме при каждой возможности воцаряется кромешная тишина, нарушаемая редким щёлканьем по клавиатуре компьютера да моими шизофреническими возгласами, когда я проговариваю диалоги героев. Просто мы продолжаем разговор о том, из чего сделаны писатели.

Впрочем, довольно часто отец работал под музыку – это была классика, чаще всего Бетховен, Гендель, реже – Гайдн и Бах. Отец был меломаном, где-то я уже писала про это. Господи, я уже обо всём писала. Но главное, в романе «На солнечной стороне улицы» я описала историю нашего американского наследства, благодаря которому мы выползли из одиннадцатиметровой комнаты в коммуналке, внесли первый взнос за трёхкомнатный кооператив на окраине нового жилрайона Чиланзар и купили пианино «Беларусь» – для меня. Это была идея отца. «Надо сократить её арычное время», – сказал он.

Мне кажется, так начинается какая-нибудь вирусная пандемия: сначала нечувствительно. Ну, заболела соседка и почему-то умерла, бедная. Но ведь она была уже сильно пожилая, правда? Потом вдруг на соседней улице помер приятель – странно, сгорел за три дня, а был здоровяк и грубиян… Потом ещё кто-то, и ещё… Когда вспыхивает и мрёт весь город целыми районами, поздно прятаться от злого рока.

Так было с музыкой в моей жизни. Сначала – чепуха, развлекуха, частные уроки с пожилой училкой, до которой добираться двумя трамваями с пересадкой. И это даже здорово: улизнуть из дому. Ездила я одна, с картонной нотной папкой (она тоже где-то описана: одутловатый исцарапанный Чайковский с густыми бакенбардами. Или то был не Чайковский?), – чудесный путь паломника. Дороги не замечала – думай себе своё, смотри по сторонам, глазей на физиономии, на драки, угадывай карманников по их шныряющим глазкам… Далее плелась по жаре какими-то задворками и улочками-тупиками, вдоль которых струились всё те же арыки в травянистых бережках. Я бросала папку в траву, садилась, снимала сандалии и свешивала ноги в воду: о, как ласково шмыгают струйки между пальцами ног, если ими слегка шевелить… А головастики? Вы когда-нибудь наблюдали жизнь головастиков? Нет, моё арычное время поначалу сократилось не слишком.

Но вот когда по дикому недоразумению, на гребне случая меня внесло в спецмузшколу при консерватории, когда выяснилось, что «нормальная учёба – это не развлечение, а многочасовая работа»… тогда я и очнулась посреди чумного барака: вокруг грохотала, звенела, шептала, пилила и скрипела, вилась и выла пандемия музыки. Крышка захлопнулась. Участь моя была решена.

И много лет с тех пор: отец выходит из мастерской что-нибудь перехватить, а я за клавиатурой, в паузе растираю уставшие руки. И он, проходя мимо меня на кухню, бодро рокочет: «Рррработай, негрр!» Лет сорок спустя, когда, бывало, я звонила по утрам, перед тем как засесть за работу (как спал, как давление, принял ли таблетки), – я знала, что напоследок непременно услышу: «Ну, хватит болтать. Работай, негр!»

Это фраза из советского фильма «Всадник без головы». «Работай, негр, солнце ещё высоко!» – говорит измученному рабу Кассий Колхаун.

Ну, я и работаю…

В своём детстве отец был харьковским беспризорником. Кстати, потому моё детство изобиловало непристойными прибаутками, песенками, поговорками, – разумеется, все их я потом аккуратно прибрала и пустила в дело в разных рассказах и повестях. Писатели, они народ бережливый.

Среди этих сокровищ, которые время от времени я благоговейно перебираю – так пятилетняя девчонка перебирает кучку своих драгоценностей: обрывок блестящей цепочки, синее стёклышко, стеклянную пуговицу от маминого халата, старую отцову зажигалку… – есть перлы, происхождение которых сейчас уже трудно, почти невозможно определить.

Отец вообще изъяснялся свободно. Сравнительно недавно я поняла, что мой отец был самый настоящий self-made man. Вернувшись с фронта, сразу поступил в художественное училище, затем, уже обременённый семьёй, окончил театрально-художественный институт. У меня есть фотография: он в потрёпанной шинели стоит перед мольбертом, в руках – палитра и кисть, на мольберте – незаконченный портрет старого узбека в белой чалме. На фотографии отец кучерявый, черноволосый, с пышными английскими усами –

рыжими. Он, как Печорин, сочетал в своей внешности сразу две масти.

Отец был красавцем, в молодости – простоватым, с годами утончался и облагораживался всё более и более. Когда ему было под пятьдесят, он внешне поразительно напоминал автопортрет Ван Дейка и выглядел европейским аристократом, тем более что «на выход» любил серые костюмы-тройки. Женщины сходили по нему с ума, он всю жизнь любил только маму. «Да и кто, кроме меня, мог бы вынести его ужасный характер!» – поясняла она при случае.

Так вот, отец, бывший харьковский беспризорник, был настоящим меломаном. Откуда? Кто? Когда? При каких обстоятельствах? Не знаю… У него был абсолютный слух, и, работая, он включал проигрыватель «Рига» и ставил пластинку Бетховена, часто – симфонию номер три, «Героическую».

«Так! Сели…» – приказывал. Я покорно усаживалась на заляпанный краской табурет. Он отходил, сооружал из ладони трубочку и приставлял её к правому глазу, а левый щурил. «Ниже голову. Чуть наклони. Так. Я сказал: «На-кло-ни! Как тебе доходчиво объяснить? Дать по башке?»

Чепуха, он никогда пальцем меня не тронул. Ну разве черенком кисти поправит наклон головы. Почему я так его боялась?

Сидим, молчим… Бетховен грохочет… Спина затекла, плечо ноет, рука не чувствует коленки, на которой лежит. О господи, господи… Ничего, дети и в шахтах работали, и кули с мукой в гаванях таскали, а ты всего лишь позировала родному отцу. Вот он, портрет, висит на стене моего кабинета: сумрачная смуглая девочка. 1963 год.

Прядка убрана со лба заколкой, взгляд несчастный, безнадёжный; взгляд – в никуда.

Я не жалуюсь. Просто мы продолжаем разговор о том, из чего сделаны писатели.

Вышколенная жажда славы

Я выросла в семье, где считалось, что ребёнок должен «достичь» и «достигать» ежедневно; обязан добиваться всего на самом пределе своих силёнок. И ещё чуток, там есть ещё два сантиметра до вершины. Вот эти два сантиметра идут на окончательную отделку той материи, из которой кроят писателей.

А ещё – честолюбие. Неловко, а признаться надо: с детства я была чрезвычайно честолюбива. Мне хотелось быть «знаменитой».

Моя сценическая карьера началась в два года, в то лето, когда мы с мамой отдыхали в горном пансионате «Бричмулла». Меня вывезли «дышать воздухом» после брюшного тифа, едва меня не прикончившего. Лысая крошечная пичужка, с лысой целлулоидной куклой Мальвиной в руках, я тем не менее собирала вокруг себя – по рассказам мамы – небольшую толпу взрослых людей, декламируя бесчисленное множество стихов, совершенно не детских. На кухне нашей коммунальной квартиры с утра до ночи работала радиоточка, а новенькая моя память была такова, что, однажды услышав голос артиста, я в точности повторяла совершенно непонятные мне слова тем же голосом: хорошая дикция и умение копировать разных людей – это у нас семейное.

«Не образумлюсь… виноват, и слушаю, не понимаю… – произносила я басом, прижимая к груди лысую Мальвину. – Как будто всё ещё мне объяснить хотят. Растерян мыслями… чего-то ожидаю… Слепец!»

Зрители хохотали, изумлялись, качали головами. Думаю, я была для них чем-то вроде учёного карлика или дрессированной собачки. Мамины попытки остановить это безобразие успеха не имели. Я отбивалась, взбиралась на скамейку, протягивала ручонку-веточку к прохожим и завывала: «Слепец! Я в ком искал награду всех трудов!..»

Учитывая, что мать и сама была актрисой-будь-здоров, я могла бы заподозрить её в некотором преувеличении. Но в семье сохранилась фотография! На неё и сейчас невозможно смотреть без смеха.

Вечерами, дважды в неделю, на танцплощадке пансионата проходили концерты. Из городской филармонии приезжали певец или певица. Солист выходил в центр асфальтированного круга, а по краям на деревянных скамьях рассаживалась публика.

«Тем вечером выступал дядька один, баритон, – рассказывает мама. – Представительный такой, чёрная шевелюра, баки… Он снял шляпу, положил на скамейку, вышел в круг и ну романсы наворачивать. Между прочим, неплохо пел… Вдруг ты угрём соскальзываешь с моих колен, хватаешь его шляпу, нахлобучиваешь на свою лысую башку и вышагиваешь прямо в центр площадки. Приревновала, значит, к вниманию публики! Очень кстати у одного парнишки там оказался фотоаппарат. Он и щёлкнул тебя – в полёте к славе».

Фотография черно-белая, с вырезными краями: просто шляпа на ножках, которые очень решительно направляются к певцу. А тот стоит, посреди заливистой рулады: «…всё то ж о-о-очарова-анье!» – ладонь прижата к груди, другая протянута к публике. Видимо, теряется в догадках – с чего это все давятся со смеху? Я за его спиной, в двух шагах. Интересно, что я собиралась делать?

И спросить сегодня некого…

Короче, я всегда была уверена, что непременно стану знаменитой. Волнующие детские мечтания: я поднимаюсь по ступеням на сцену, я у всех на виду! Меня слепят софиты! Аплодисменты!!! Я кланяюсь!

Воображение не уточняло: за каким, собственно, дьяволом я полезла на подмостки. Неважно! Главное, я у всех на виду. Имя моё – на огромной афише! Мимо неё идут по тротуару люди, останавливаются, читают вслух: ДИНА РУБИНА!

Когда сильно мечтаешь, можно домечтаться бог знает до чего.

Недавно после выступления в одном из городов Израиля ко мне подошла женщина. Торопливо объяснила: она туристка, приехала в гости к сестре и вот так удачно попала на мой концерт. Уполномочена передать привет от своей соседки, цыганки. «Она мал что цыганка, она ещё всё времь в отсидке. Выйдет, прокантуется недель-другую – и опять на зону. И вот эта самая цыганка… «Людка, – говорит, – ты в Израи?ль едешь, найди там женщину одну, Динарубина зовут. Она из наших, из цыган. Баба душевная, с пониманием. Передай: ежли загребут её, пусть просится на нашу, триста восемьдесят пятую строгого режима. А мы греть её будем, в обиду не дадим, так и передай».

Я, помнится, заиндевела от красоты момента. Вот оно, признание народное! Не забыть бы: триста восемьдесят пятая, строгого режима.

Да любой писатель душу продаст за подобное свидетельство славы!

Кстати, об имени и афише

Я родилась очень маленькой, чуть ли не полтора кило весом. Отходы производства… В ту ночь в роддоме родилось семеро мальчиков и вот я, такая. Не мышонка, не лягушка. Отец и вообще мечтал о сыне. Он с горечью сказал: «Все родили мальчиков, одна она умудрилась родить… вот это…» Тем не менее домой меня забрал.

На другой день проведать маму пришла её подруга, завуч вечерней школы, где мама преподавала. Она заглянула в коляску, промямлила:

«Девочка… э-э-э… миниатюрная. Как назвали?»

В девятом классе мама была влюблена в голливудскую кинодиву Дину Дурбин, раз двадцать слушала, как та исполняет песню «Отчи тчёрние…». Дала себе слово назвать будущую дочь в честь любимой актрисы.

«Я назвала её Диной», – сказала мама.

Её приятельница преподавала литературу, была человеком возвышенного строя мыслей, а может, просто хотела маму утешить – ясно ведь, что с ребёночком что-то… неладное.

Она прикрыла глаза и торжественно отчеканила:

«Дина Рубина!.. Я вижу это имя напечатанным на афише. – И оживилась: – Нет! Я вижу это имя на обложке книги».

История семейная, обкатанная, рассказывалась раз сто – возможно, потому я и выросла в полной уверенности, что стану «знаменитой»? Кстати, пенсионеры, ещё помнящие фильмы с Диной Дурбин, и сейчас иногда обращаются ко мне именно так: «госпожа Дурбин!»

Вообще, странно, что я названа в честь постороннего человека. У евреев, как и у многих народов, ребёнка принято называть в честь родственника. А я недавно читала, что девяностолетняя старушенция Дина Дурбин благополучно доживала свою жизнь во Франции, в Нофль-ле-Шато. Что ж, будем считать это залогом какой-то невероятной живучести – и имени, и его носителя. Хотя живучести и в моей собственной родне хватает.

Всю жизнь меня – и среди друзей, и в семье – сопровождает звонкое «Динка»; даже странно стареть под этим задорным коротеньким именем. И хотя в Ташкенте моего детства каждая третья собака бегала с этой кличкой, у меня никогда не было никаких претензий к собственному имени. Оно меня и сейчас устраивает, по другим уже причинам: ловко и сжато укладывается на обложках моих книг, коротко-упруго, пружиной взлетает по корешку.

Вот что мне действительно нравится, так это моё отчество: Ильинична. Оно и льётся в начале, и так уютно приседает на окончании. Имя моего отца – Илья – кажется мне совершенно роскошным. Во-первых, это одно из ярких библейских имён моего народа. Илья-пророк – шутка ли! Во-вторых, есть в нём какая-то щедрость, и мягкость, и былинное мужество. Жаль, что в Израиле нет в обиходе отчеств. Приезжая в Россию, я кайфую, услышав своё полное имя, тянущее за собой пушистый лисий хвост: «Динильи-инишна…»

Так вот, о достижениях

Интересно, как этот чёртов «синдром шута» сочетался с отцовой мизантропией, которая с годами проявляется во мне всё сильнее.

И тем не менее.

Клокочущее внутри желание осуществиться творчески приобретало у меня самые причудливые формы. Например, пару лет я выпускала семейную стенгазету «Гоп со смыком!» – оформление, содержание и техническое исполнение целиком принадлежало мне. Отец выдавал на мою затею половину ватманского листа и время от времени подходил и давал ценные профессиональные советы: «Ты зачем это к самому краю наклеила, балбесина?! Следи за пропорциями».

Газету прикнопливали на стену по-настоящему, через месяц её сменяла другая.

Как жаль, что абсолютно все в нашей семье лишены были чувства охранения времени и ничего, ничего не осталось от этого моего подросткового кипения.

Будучи ученицей девятого класса, я устроила вечер чеховских рассказов.

В актовый зал согнали три девятых и три десятых класса – приличное количество озорного народу, не спускающего промахов. Читала я наизусть, если правильно помню, три или четыре рассказа – литературный текст в то время запоминала мгновенно и навсегда. Два часа гарцевала на сцене, изображая старух, генералов, присяжных поверенных, извозчиков и кобыл. Шептала, напевала, говорила басом, визгливо хохотала…

И знаете что: мне таки хлопали! Кричали, свистели, одобрительно топали ногами. Я кланялась – все же артисты кланяются. Маргарита Сергеевна, учительница русского и литературы, прилюдно назвала меня «мастером художественного слова».

Пока тащилась на трамвае домой, я раз тридцать прошептала этот приз, это звание – мастер художественного слова! – снова и снова сплетая их в разном порядке. Наконец-то я стала знаменита! – пока в масштабе школы; эскапада с журналом «Юность» маячила в недалёком будущем.

Но дома, кажется, ничего не рассказала. А зачем? К музыке это не имело отношения. Для отца же важны были только музыкальные достижения. Всё остальное не имело ровным счётом никакого значения.

Взять хотя бы историю о тающем пластилине…

Юлий Цезарь с перекошенным лицом

Лет примерно в двенадцать я повадилась лепить из пластилина разные фигуры. Размера эти скульптуры были небольшого, но всё же материалу требовалось на них много. Поскольку мама была прижимиста и не то чтобы выдавала деньги по первому же намёку, я копила грошики, которые мне полагались на школьный завтрак: первый личный опыт на тему искусства и жертв. Пластилин был дёшев – в каком прекрасном мире мы жили! – я покупала по три коробки сразу, энергично смешивала все цвета в единую бурую массу и лепила… лепила… Лепила! До сих пор мои пальцы помнят упругое ощущение проминаемой гладкости, тугую сопротивляемость материала. Я всегда умела погружаться в работу.

Зимой скульптуры можно было выставить на подоконнике. Проходя мимо, отец останавливался и, склонив голову набок, рассматривал этих людей. Иногда говорил что-то вроде: «тут у тебя в торсе пропорции нарушены» или «попробуй сделать каркас из палочек».

Потом наступило лето… Ташкентский климат оказался беспощаден к нежным пластилиновым фигурам. Оставалась морозилка в холодильнике.

Мать, надо отдать ей должное, терпела довольно долго. Но когда испортилась курица, купленная на Алайском, она в сердцах выгребла из морозилки мои труды и – не выбросила, конечно, это ж не почеркушки в тетрадках, всё же ребёнок сидел, старался-трудился, не гонял ворон – просто выставила их на тот же подоконник, где они и осели, обрюзгли, размякли… И погибли. Среди них было моё высшее достижение: бюст Юлия Цезаря размером где-то с большую чашку, скопированный со скульптуры, найденной в одном из отцовых альбомов. У нас дома всегда было полно альбомов живописи и скульптуры. Копия получилась настолько удачной, что отец трижды подходил, пока я лепила, давал советы и даже одобрительно хмыкал.

Так вот. Юлий Цезарь полностью потерял лицо. Всё погибло! Я плакала горько, безутешно. Оплакивала свои будущие выставки, свою будущую скульптурную

стезю. Свою «знаменитость». Провела, помнится, дня три в зоопарке перед клеткой с любимыми обезьянами, бормоча им что-то гнусавым от слёз голосом.

Ничего, пережила и это. Писателей делают также из детских горестей, из растаявшей мечты, из обезьянок в клетке.

Много лет спустя, будучи в хорошем настроении и, кажется, опрокинув стопарик, отец признался, что заметил тогда во мне «очень хорошие способности к лепке». Я даже не удивилась. Просто полюбопытствовала: «Почему же ты не помог? Были же детские студии… и твои же коллеги…» Он удивлённо глянул на меня, покачал головой: «Женщина – скульптор? Обречь тебя на эту каторгу? Через мой труп!»

Я, помнится, расхохоталась и сказала: «Папа… я сорок лет на каторге, правда, другой».

Для отца всегда всего было недостаточно: высоких оценок, тщательности проработки каких-нибудь сонат или этюдов. В детстве нас с сестрой это страшно обижало, даже ранило. Могла ли я представить, что когда-то буду вспоминать свои детские муки с благодарностью, ибо именно отец привил мне, точнее, вымуштровал во мне неистовую жажду совершенства. Моего личного проклятого совершенства. Первый написанный вариант текста никогда меня не устраивает, и назавтра он переписывается. Послезавтра я к нему возвращаюсь, потому что он чудовищно слаб, и я переписываю его до неузнаваемости. И так бессчётное количество раз, пока, измождённая, я не оставляю этот текст в покое – просто чтобы не сойти с ума. Я и в молодости просыпалась в пять утра и садилась за пишущую машинку, и так изо дня в день. Всегда жила жизнью рабочей, выматывающей, строго размеченной по часам и делам…

Судя по фотографиям, в молодости я была, что называется, красива. Ума не приложу – зачем мне было выдано ещё и это оборудование. Не помню, чтобы оно как-то и где-то мною толково использовалось, принималось мною же во внимание или по-особенному как-то пригодилось. Бесполезный дар – в моём случае. Могла бы и обойтись, много лет думала я. Но с годами пригодилось и это собственное утреннее лицо в зеркале. Старение красивой женщины – пронзительный опыт, во многом трагический. И это пошло в ту же творческую

топку.

Звонкий поцелуй Судьбы

Когда произошло то, что произошло, и мой рассказ опубликовали в журнале «Юность»…

Нет, вот уж об этом я писала раз двести, надо и совесть иметь. Скажу только, что принадлежу к довольно редкому экземпляру личности, мечты которой сбылись в шестнадцать лет. Я проснулась если не знаменитой, то читаемой поневоле.

Мне известно несколько подобных случаев. Как правило, после такого в литературной судьбе головастика ставилась точка. Ведь для того, чтобы писать, нужен изрядный характер, особенно в юности, когда твои гормоны отбивают во всём теле оглушительную барабанную дробь, ты раздираем на части желаниями, усидеть на одном месте практически невозможно. Нужен характер и писательский зуд от рождения. Мне повезло: я обладала и тем, и другим.

Кстати, мне заплатили гонорар: девяносто восемь рублей! Это, без малого, была зарплата моей матери. Семью тряхануло, как любит говорить моя дочь, конкретно. Немая сцена, «Ревизор»: опаньки-на! Поворот рычага, переключение скоростей, вышибло пробки, мы, оказывается, не туда ехали.

Мать оробела, а робела она не часто. Смутить её было практически невозможно: сангвиник. Она осторожно поинтересовалась: «А какой это… э-э-э… рассказ?» Я хотела сказать: «Который ты не успела выкинуть», – но не сказала. Тогда я ещё не научилась хамить матери, да и сноровка в дуэлях «вопрос-ответ» не была ещё мною отточена до блеска.

Главное, что всегда впечатляло мать: хорошие отзывы от людей (ну как же: «Люди меня уважали!»). И отзывы посыпались лавиной. «Ах, Рита Александровна, читали рассказ вашей Диночки! Какая талантливая у вас дочь,

везёт же родителям…» Мать приободрилась, присмотрелась ко мне. «Тебе надо постричься! – сказала она. – И не сутулься!»

Началось моё медленное восхождение от позора семьи до гордости нашей литературы – в масштабах родни, двора и школы, само собой.

Единственным, кто обрушил на меня суровое осуждение, был дядя Яша, мамин брат, – святой инквизитор, поборник чести и праведности.

«Ты ещё будешь стыдиться своего поступка!» – сказал он.

«Почему?» – с искренним любопытством поинтересовалась я.

«Вот увидишь», – ответил он сумрачно.

Сейчас я думаю: до известной степени дядька был прав. Писатель всегда стыдится своих глупых ранних потуг на творчество. Сам-то он имел в виду, конечно, совсем другое, но вот что именно? Уже не допросишься, не докричишься…

«Если ты пишешь (книги, или картины, или лепишь, или поёшь – всё равно), кто-нибудь обязательно попытается тебе внушить чувство стыда за это» (Стивен Кинг).

Не так давно я обнаружила блокнот со своей повестью «Когда же пойдёт снег?..», которую легко и быстро накатала за несколько вечеров. Там всего одна правка: зачёркнуто слово «пришёл» и поверху написано «явился». Вот так я писала в юности, как в стенгазету.

Сейчас думаю: мне страшно повезло, что этот ослепительный фонтан славы обрушился на меня в шестнадцать лет, а не в двадцать пять или в тридцать, например. Рада, что прививка всей этой чепухой под названием «популярность» произошла именно в юности, вот как дети в детстве болеют ветрянкой – бурно, с температурой. Во взрослом возрасте ветрянка очень опасна. Внезапную популярность во взрослом возрасте нести очень трудно, она может деформировать личность. В моём случае это было чуть ли не игрой. Так что

сейчас я довольно равнодушна к свидетельствам своей известности.

Отец воспринял новость с восхитительным спокойствием и достоинством, типа «я никогда не сомневался». На следующий день вышел из мастерской облачённым в свой костюм-тройку, при галстуке, и велел мне одеться прилично. Когда отец что-то требовал, у нас не принято было переспрашивать – ну как бывает в нормальных семьях: зачем, па, куда там, да некогда, да неохота, да ладно… Нет! После слов отца должно было их исполнять. Не то чтобы «сделай или сдохни!», но просто: сделай.

Я спросила только – что надеть, мать торопливо ввернула: «Надень белую водолазку».

В тот день мы с папой сфотографировались на память. Эта фотография много лет стоит у меня на книжной полке: волосы мои, в то время буйные, прилизаны и разделены отцовой расчёской на прямой пробор, так что похожа я на дореволюционного приказчика в галантерейном магазине города Елец. Глаза мои – как обычно – смотрят далеко и безнадёжно. Чего нельзя сказать о папе: у него тут на редкость благостное лицо, и вот на этой фотографии видно, как мы похожи.

Семья – самое мучительное и самое потаённое в жизни Одинокого пишущего человека.

Это твои внутренности, твоя суть, твоё тело с содранной кожей. Неумолимая, несокращаемая глава о твоей жизни и твоём творчестве.

Литературу всегда интересовало только самое мучительное, самое потаённое. Это и есть смысл, плоть и кровь литературы.

Да, отец воспринял моё преображение с суровым удовлетворением. Что не мешало ему в дальнейшем всю жизнь допекать меня разными глупостями, вроде огромных тиражей дешёвых детективных книжек. Он брал со своей прикроватной тумбочки очередной детектив в помойной обложке (пристрастился к ним в старости), раскрывал на странице выходных данных и,

щурясь, громко читал: «Тираж… четыреста тысяч! Во! Пишут же люди!» Но тут ничего не поделать – таким уж он был, мой отец.

Он умер несколько лет назад, я горюю о нём, по-прежнему его боюсь и до сих пор не соберусь с духом свести с ним счёты – по крайней мере, на бумаге.

Родня писателя как литературный фактор

Так, что там у нас дальше на тему «из чего делают писателей»? Родня-роднёй-родню…

При всех странностях, скучным наше семейство никто бы не назвал. Я не говорю уже о матери с её спонтанными выплесками совершенно эстрадных штучек. Не говорю о бабке с её неисчерпаемыми «рассказами за жизнь». А мой любимый дядя Яша, мамин брат, мандолинист-гитарист, тоже где-то уже описанный! Помню саманную мазанку-хибару, которую, вернувшись с войны, он построил, вернее, слепил собственными руками. Во время одного из апрельских толчков ташкентского землетрясения одна стена хибары удачно выпала наружу. Если б она упала внутрь, я бы не писала эти строки, ибо спала в той самой комнате.

Кстати, в тот миг – я помню его ослепительно ярко и хлёстко, как удар прожектора по глазам, – вся моя коротенькая жизнь, вплетённая в жизнь города, покалеченного стихией, но погружённого в волны света, показалась мне частью бесконечного рассказа. Внутренний стон от бессилия выразить это словами слился во мне с таким же неслышным победоносным воплем: я знала, что отныне буду упорно искать слова, которые приблизятся к чувствам, настигнут их, оттиснут на бумаге…

С тех пор прошло более пятидесяти лет. Я всё так же мучительно ищу слова и всё так же первое озарение ускользает от меня, посмеиваясь и оставляя в дураках, хотя из книг, которые я написала, можно составить небольшую сельскую библиотеку.

Так вот, мой дядя Яша был сталинист, но беспартийный. Мама, как преподаватель истории, разумеется, состояла в партии, иначе тогда и быть не могло; но с молодости, напротив, была ярой антисоветчицей. Несколько раз в детстве я присутствовала при их стычках, чуть ли не драках, великолепных, зажигательных – хотя трудно в этих воплях было понять, чего не поделили брат с сестрой. Но оба вопили: «Я не хочу тебя знать до конца моей жизни!!!»

Каждый в моей родне был пронизан токами артистизма – каждый по-своему. Даже отец – при всей его мрачности. Кстати, у отца было прекрасное чувство юмора. Вообще, я никогда бы не удивилась такой фигуре: мрачный комик. Даже наоборот. Однажды приятели моей мамы, супружеская чета, отдыхали в каком-то прибалтийском ведомственном санатории и по случаю оказались там за одним столом с Аркадием Исааковичем Райкиным. Они с недоумением рассказывали, какой тот мрачный человек: «Войдёт, кивнёт, ест молча, и слова от него не дождёшься!» А я совсем не удивилась. Мне это ничуть не странно, хотя, наверное, поклонники таланта великого артиста надеялись на ежедневные послеобеденные спектакли. Окажись на их месте, я бы даже не здоровалась, чтобы глаза ему не мозолить. Человек, в котором живут десятки разных персонажей, просто не может быть другим в быту. В свободное время он должен всех их с себя стряхнуть. И молчать… молчать. Мол-чать!

Говоря об артистизме матери, я не забываю и о других персонажах моего детства, о которых – так уж сложилось – я тоже всё уже написала. Или почти всё. Бабке, которая была необычайно колоритна, посвятила целую новеллу. О дедушке Сендере (у него было двойное имя Сендер-Александр, как у какого-нибудь австрийского барона) я писала тоже, в основном упирая на трагический поздний факт его биографии: будучи шестидесятилетним стариком (в то время старели куда раньше сегодняшнего возрастного ценза), он потерял под трамваем обе ноги (мамино выражение; я всегда представляла, как дед ползает по трамвайным линиям, ищет потерянные ноги), но встал на протезы и продолжал работать. Никогда не жаловался. «Живу то, что есть», – говорил. И если учесть, что он не бумажки в жилконторе перебирал, а целый день рубил туши на Алайском базаре, можно только восхититься физической силой и мужеством этого человека. Кстати, его товарищи, мясники-узбеки, объяснялись с ним на идише: узбеки, как и все восточные люди, способны к языкам…

(Однажды я получила письмо от читательницы, которая оказалась моей землячкой. Она вспомнила свою бабушку, та всегда говорила: «На Алайском

покупать у Безногого! Хороший товар и честный расчёт». Я растрогалась и даже прослезилась: будто привет от деда получила!)

Так вот, я писала о героизме деда, но до сих пор ничего не написала о его поразительной способности формулировать явления и повадки окружающего мира. Сейчас, оглядывая людей своего детства с высоты писательского опыта, я понимаю, что мой дед выражался афоризмами: чёткими, понятными ребёнку и очень образными. Я все их помню и ныне примерно так и разговариваю со своими внуками, не прилагая к этому особых усилий. В моём словесном обиходе застряло много дедовых словечек и выражений, и лишь недавно я поняла, что в каких-то поступках подсознательно следую его советам.

Он забирал меня из детского сада, торжественно выдавал карамельку – всегда одну! – велел «сосать её внимательно», и мы довольно долго шли по бульвару. Мне в голову не приходило, что деду больно и трудно идти – «Ты надышалась в компании? Теперь дыши отдельно!». Затем он поднимался со мной на четвёртый этаж – «На ребёнке надо держать глаз!», мало ли кто там стоит и подстерегает на площадке…

Но однажды мы всё-таки сели в трамвай – кажется, был гололёд и дед боялся поскользнуться, упасть: «Кто доведёт ребёнка до дому?»

Мы стояли в толкучке вагона над дюжим детиной, который продолжал сидеть, спокойно взирая на деда с его палочкой. Наконец какой-то узбекский парнишка вскочил и с извинениями («не сразу заметил, ака, простите!») усадил деда на своё место.

Мы доехали до нашей остановки, медленно спустились по ступеням трамвая: «Второй пары ног у меня в запасе нет, так что сползаем внимательно!» («внимательно» было его любимым словом), и пока шли до ворот в наш двор, кое-что с дедом обсудили – я любила с ним поболтать.

«Какой противный дядька был в трамвае, правда, деда?»

«Не, – сказал дед. – Нормальный человек. Нормальные люди любят место, насиженное собственной задницей».

«А тот парень, узбек, он добрый, деда, правда, он хороший?»

«Тоже нет, – ответил дед. – Может, хороший, может, плохой. Он ещё не насидел своего места. И потом, его правильно научили: так что он в прибыли».

«В какой прибыли, деда?» – удивилась я.

Дед немного подумал, открыл калитку во двор. Он всегда открывал передо мной все двери, калитки, ворота.

«А вот он покормил свою душу. Дал ей кусочек – сладкий, как твоя карамелька, и его душа посасывает эту карамельку, и она довольна. Потому что она её заслужила».

Каждый раз, когда мне удаётся кому-то в чём-то помочь, и вообще совершить нечто общественно дельное, я прихожу в хорошее настроение, мысленно усмехаюсь и говорю себе: «Карамелька? Соси её внимательно!»

Однажды в детстве – мне было лет девять-десять – я украла тюбик губной помады у учительницы музыки. Она это обнаружила, случился страшнейший скандал. В присланной маме записке велено было «уплатить за почти целую помаду одну шт. три руб.», которые мама немедленно и горько уплатила.

Разумеется, и об этом есть у меня рассказ: нет ничего более привлекательного для писателя, чем собственные обгаженные в детстве штанишки. Я не помню, насколько стыдно мне было – скорее, я просто отрабатывала этюд «стыдоба и покаяние», – но если даже и было, рассказ написан, и значит, стыд окупился. У писателя вообще окупается всё, всё, всё, – хотя и не сразу: несчастья, любовные неудачи, хронические болезни, тюрьмы-каторги, роды… Не окупается только собственная смерть, а жаль. Мечта любого стоящего писателя: личные впечатления о личных похоронах.

Дома, вообще-то, растерялись. Мамин богатый педагогический опыт был приложим к кому угодно, только не ко мне. Мамина подруга тётя Роза уговаривала её «не делать из чепухи трагедии» и бодро припечатала: «И Христос бы крал, кабы руки не прибили!»

А дед мой, мудрый мой дед, сказал: «Выплюнь, мамеле, эту историю и помни: чужое проглотить нельзя. А проглотишь – тебя ещё три года будет тошнить». И я сразу представила, как выблёвываю проглоченную помаду, и расхохоталась, хотя до этого рыдала безутешно.

С тех пор я никогда не зарилась на чужое – в том, что касается материальных предметов нашего мира. Всё остальное при малейшей возможности я без зазрения совести утаскиваю в свою писательскую нору. Время от времени перебираю свой гамбас, перетряхиваю, любуюсь добытым: вот эта отдельная бровь – изумительна, надо использовать! а та кургузая бабка с кошёлкой – ах! а этот матерный куплетик – чудо, чудо! Когда-нибудь всё пригодится.

И последнее…

…раз уж мы заговорили о материи, которая идёт на производство этой малосимпатичной особи – Одинокий пишущий человек.

В природе существуют плотоядные растения – они питаются живыми существами. Хищные по сути своей твари: присела бабочка на прекрасный цветок – гам-хруп-фьють! – лопасти захлопнулись, и нет мотылька. Его втянули хищными волосками в гибельное сопло, переварили, переплавили в какую-то иную субстанцию. В художественную прозу. Ибо жизнедеятельность писателя напоминает повадки именно таких вот хищников. Писатель всегда в поисках пролетающей, пробегающей мимо его воображения пищи. Лопасти его чувств готовы захлопнуться над добычей; щупальца всегда готовы втащить, втянуть, переварить… Писатель никогда не упустит своего, и даже не старается это скрыть. Мне в этом смысле особенно нравится одна реплика из «Интервью» Феллини:

«Вор с лицом вора – это же честный человек!»

«В литературе не существует добрых намерений» (Гюстав Флобер).

Да, писатели – пираньи, они выщипывают гниль в сознании общества, тем самым поневоле это общество оздоравливая. Присутствие литературы – важная часть общественного сознания. Впрочем, иногда пациент безнадёжен.

Я не знаю профессии более жестокой из всех якобы мирных занятий. Наёмный киллер убивает вас физически. Писатель может убить словом. Слова, как мельчайшие дозы мышьяка, накапливаясь, убивают. Все предуведомления автора «о случайных совпадениях» в романе гроша ломаного не стоят, это отписка, отмазка от адвокатов оскорблённых прототипов. У меня для вас плохие новости (частая фраза в американских детективах): талант витает, где хочет, и разит наповал кого ни попадя заточкой гротеска. Как говорил один из героев Агаты Кристи: «Он принадлежал искусству, а значит, был аморальным человеком».

Что волнует меня по-настоящему, так это человеческая природа – в таинственном молекулярном или клеточном смысле. Заповедные пути наших ДНК, прошивающие поколения одной семьи крепчайшей невидимой нитью. В детстве я исподволь наблюдала за мамой и бабушкой, пытаясь осознать: вон та женщина родила вот эту женщину, и обе имеют ко мне не просто близкое, а телесно-родовое отношение. Незаметно сравнивала их руки, ловко раскатывающие тесто на пирожки, с моей тощей лапой – как похожи пальцы, ногти… Меня завораживало семейное сходство!

Помню, когда моя дочь Ева ждала первого ребёнка и мы уже знали, что это будет девочка, однажды я решила её проветрить. Заодно мы заехали за моей мамой, тогда ещё бодрой и смешливой, и вместе, радостно щебеча, куда-то покатили – кажется, в какой-то парк угощаться мороженым. Я крутила руль, на заднем сиденье дочь горячо спорила со своей бабкой, моей мамой… И вдруг меня пронзила такая очевидная, но потрясающая мысль: в этой машине едут четыре поколения женщин моей семьи по прямой линии, если считать ещё не рождённую мою внучку, а мамину правнучку. И почему же её не считать? Она, вероятно, слышит весь спор, а возможно – я даже уверена! – имеет на всё своё мнение.

Я просто замерла от этой мысли, залюбовалась драгоценной цепочкой, вроде Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова… и так далее, до скончания веков.

Связь поколений – вот что завораживает меня и в жизни, и в творчестве. Это очень заметно во всех моих книгах.

С огромным любопытством наблюдаю за внучкой. Эта маленькая прохиндейка не только внешне на меня похожа. Куда интересней наблюдать за её попытками обвести взрослых вокруг пальца, сочинить несусветную чушь и ловко вывернуться из «разбора полётов».

В погожий день, гуляя со своим керн-терьером, я иногда доходила до её садика. В 12.00 всю группу выпускали погулять во двор, мы с Шерлоком приближались к забору… и малыши бросались погладить собаку сквозь прутья решётки. Это был звёздный час моей внучки: до известной степени она становилась центром внимания. Она становилась популярной и знаменитой.

В первый раз после такой приветственной возни мы с Шерлоком уже направились восвояси, и я услышала за своей спиной:

«Это твоя собака?»

«Моя!» – гордо ответствовала Шайли.

«А кто это с ней гуляет?»

«Наша домработница», – прозвучало без малейшей паузы.

Дома я в полном восторге позвонила дочери пересказать этот дивный диалог. Та рассвирепела:

«Ах, засранка! Ну, она у меня получит, пусть только домой вернётся!»

«Оставь её в покое, – сказала я. – Может, она будет писателем?»

Так о чём мы – о детстве? Бог с ним, оно давно уже прокручено в чудовищной писательской мясорубке.

Раньше мне часто снились люди моего детства, моего двора, молодые родители, бабка с дедом на протезах. Но по мере того как я их описываю, исчерпываю, додумываю и прощаюсь, они снятся всё реже. А после выхода в свет романа «На солнечной стороне улицы» и мой Ташкент перестал меня беспокоить.

Счастливая структура писательского мозга: ты выплёскиваешь на бумагу свои сны, свою память, свои страхи и прегрешения, детство и отрочество – да, в сущности, всю свою жизнь! – и дальше идёшь налегке, готовый воплотиться в чужие жизни, гулять по чужим городам и слушать чужой непонятный говор.

Глава вторая

Из дому надо выходить с запасом тепла

Но как подумаю про долгий путь оттуда…

Не надо! Нет! Уж лучше не пойдём.

Давид Самойлов

– Д.И., ваш роман «На солнечной стороне улицы» прежде всего – о сложной системе отношений, связей, вибраций окружающего мира, в котором вырастает юный человек. Внутренние судьбы ваших героев не имеют словаря. Там снимают с себя наручники, именуемые культурой, и возникает нечто новое, иной космос. Возможно, причиной тому – местность, в которой протекает действие романа? Говоря о Востоке, мы часто подразумеваем некую мудрость, с оттенком мистики, свойственную восточным людям. Вы ощущаете это качество в себе?

– При чём тут восточная мудрость? Среди восточных людей я встречала потрясающих идиотов. Если же вы имеете в виду взросление в бурной и разношёрстной толпе персонажей, среди которых проходила моя ташкентская жизнь, точнее назвать это не мудростью, а, скорее, гибкостью. Это гибкость, привычка уживаться в обществе пёстром и неоднородном по всем векторам: национальному, социальному, эмоциональному, этическому. Примите также к

сведению коренную данность – ислам. Он был стреножен советской властью, одомашнен и выливался по большей части в красоту национальных обычаев, вкусную еду, гостеприимство к любому незнакомцу, кто переступает порог твоего дома; но помнил и другие времена: например, женщин в паранджах. Просто в ежедневном обиходе мы практиковали то, что ныне именуется извращённым и опустошённым словом «толерантность». Говоря проще, мы интуитивно понимали: что можно человеку сказать, а от чего лучше воздержаться.

К «восточной мудрости» это не имело отношения. Это была коммунальная мудрость ташкентского двора.

Босое постижение милосердия и добра

Главный урок детства: опыт плавания в своеобразном Ноевом ковчеге. Вокруг клубились десятки этносов со своими обычаями, привычками и наречиями. Но и мусульманские традиции в ауре города были достаточно сильны: уважение к гостю, уважение к старшему по возрасту, почтение к хлебу, невозможность выбросить даже засохший его кусок… Об этом можно говорить часами.

Дворовая жизнь ребятни в Ташкенте была – уверена! – гораздо более насыщенной и увлекательной, чем в любом городе средней полосы России: климат. Вся жизнь на виду. Да и сам человек – маленький, большой – как на ладони. Открытая, горячая загорелая кожа, задубевшие пятки отважных и неутомимых маленьких ног…

Чуть ли не девять месяцев в году мы бегали во дворе налегке, часто босиком, домой заскакивали, чтобы выбежать через пять минут с горбушкой хлеба, посыпанной солью и натёртой чесноком. Откусывать давали избранным, приближённым. Наш знойный мир был необъятен: соседние бахчи, поля с развалинами глинобитных домишек. По весне всё вокруг полыхало волнами багровых маков, а руины кишели всякой опасной живностью, вроде скорпионов, которых мы ловили в банки и заливали спиртом – это было противоядием от будущих укусов.

Печать окружения, иначе говоря, печать местности, где мы растём и взрослеем, всегда настолько выразительна и несмываема, что, например, своих ташкентцев я опознаю буквально в первые минуты знакомства. В манере говорить, в жестах, в мимике у них наличествует (за редчайшим исключением) такой важный социальный витамин – «презумпция дружелюбия»: ненавязчивая и ненатужная готовность к разговору, к улаживанию спора, к эмоциональной отдаче. Не говоря уже о немедленном, как инстинкт, позыве накормить гостя. Это в нас впиталось узбекское гостеприимство – важнейший закон жизни народа.

Я твёрдо знаю: всё или почти всё, что есть сносного в моём тяжёлом характере, – это влияние многоголосой ташкентской улицы, точнее, ташкентского двора. Тот же двор воспитал в нас осторожность, бдительность и гибкость в разных передрягах. И потому, сталкиваясь в своих многочисленных поездках с представителями самых разных эмиграций (американской, израильской, немецкой и проч.), я ещё ни разу не повстречала ташкентца, который бы не держал ударов судьбы, не выстоял и, как следствие, не преуспел.

Впрочем, об этом уже написан, экранизирован и переведён на множество языков роман «На солнечной стороне улицы». Не хочется повторяться. Расскажу только вот о чём.

В конце 1945-го мой отец, демобилизованный младший лейтенант Илья Рубин, приехал в Ташкент к своим престарелым родителям – те были эвакуированы в Среднюю Азию из Харькова в начале войны. Он вышел из поезда на незнакомый перрон, миновал вокзальную площадь и пошёл по тихой улице в поисках нужного адреса. Заблудился в переулках среди саманных домишек, растерялся… и постучал в синюю калитку в глинобитном дувале чьего-то двора – просто спросить дорогу. Вышел пожилой узбек, увидел фронтовика, предложил подождать, ушёл и… вернулся с пиалой. Сказал: «Сначала попей чаю, сынок. Потом расскажу, как идти».

«Так меня встретил Ташкент, – говорил отец. – И вот уже сорок лет я об этом помню».

Я выросла среди людей, многие из которых после войны остались в Ташкенте – хотя могли бы вернуться туда, откуда были эвакуированы. Но по разным причинам не вернулись. Не только потому, что Ташкент – «город хлебный». Не такой уж он был и хлебный в военные годы: так же, как вся страна, голодал, стоял в очередях за жидкой мучной бурдой, затирухой, получал хлеб по

карточкам.

Так вот, дело не в «хлебности» Ташкента и его жителей, а в душевной приёмистости, той самой терпимости к ордам голодных и не всегда симпатичных «квартирантов», что обрушились на город.

Достаточно вспомнить легендарного кузнеца Шомахмудова, который принял в свою семью и воспитал больше десятка разноплемённых сирот. Не знаю, хотелось ли ему этого; думаю, не мог не подобрать. Для нас, выросших после войны, эта история была привычно «школьной», почти официозной, её вспоминали на День Победы – местный такой символ гордости (помню, на эту тему и фильм был снят, «Ты не сирота!» назывался, в нём играла мамина ученица Лариса Лупиан, будущая жена Михаила Боярского).

Но однажды, уже взрослой, проходя мимо памятника тому кузнецу, я вдруг подумала: как же он всех кормил, этот человек, ведь у него наверняка и своих голодных ртов было достаточно? Как смог прокормить всю эту ораву – не месяц, не два, а годы, да ещё какие годы?!

Никакая это не «толерантность», это особый вид мужества, невозможность уклониться, деяние подлинной естественной доброты. Если хотите – да, народная этика Востока.

А детский дом Антонины Ивановны Хлебушкиной? Эта женщина, которую воспитанники называли мамой, дала свою фамилию всем малолетним сиротам. Сейчас по всему миру живут в разных странах множество Хлебушкиных. С одним таким, в Израиле, я знакома. И опять же, именно сейчас, будучи немолодым человеком, я думаю: сколько добра должна была излучать эта женщина, сколько силы и душевного тепла, чтобы согревать множество осиротевших детских сердец! Да ведь это настоящая электростанция любви…

И это – Ташкент. Мне, конечно, повезло: любой писатель выжимает из собственного детства драгоценный экстракт для своих книг. Писатель рождается где угодно – в Индии, Новой Зеландии, в Британской Колумбии, на магаданской зоне, в столице империи с её культурными сокровищами, в деревне на Алтае… Писатель всегда заложник своего детства, но он и властитель своего детства, он – победивший и побеждённый гладиатор.

Мне повезло: столько ярого солнца, базарного ора, душевного тепла и синего золота небес было пролито в детстве на мою всегда растрёпанную макушку, что хватило бы и на десять романов о моём городе.

Но я написала один…

«Меня там не было…»

С годами начинаешь перебирать воспоминания, которые когда-то казались незначительными, осознавать детали, вроде такие неприметные, но заговорившие со мной именно теперь, причём особыми тайными знаками: и мы пригодны для прозы! И мы, и мы! – кричат эти воспоминания. И многое уже иначе освещено, многое занесено палой листвой, виноградной пыльцой, гулом спелого арбуза, когда прикладываешь ухо к его полосатому боку…

Передо мной проходят люди разных этносов, приветствуя меня – каждый по-своему.

Я выросла среди узбеков, таджиков, уйгуров, киргизов; среди татар – казанских и крымских. Это были две разные общины. Образованные, красивые, как итальянцы, белокожие казанские татары и острые, гортанно-беспокойные крымские. Директор музыкальной школы, где я училась, был огненнобородым, орлиным и яростным человеком; поговаривали, что он подписывал какие-то протестные письма, ездил в Москву на демонстрации, боролся за возвращение своих соплеменников на родину в Крым. В средней полосе России он давно бы уже слетел с должности и, возможно, угодил в места отдалённые. В Ташкенте он продолжал принимать экзамен на беглость пальцев. Меня выделял среди остальных учеников и, кажется, натягивал оценки на экзаменах – мама уверяла, из-за того, что его дочку тоже звали Диной. («Международное имя», – поясняла мама, подчёркивая это как своё личное достижение.)

Итак, татары двух мастей…

Евреи – трёх мастей: ашкеназы, бухарские (те говорили на своём непонятном языке, их почему-то понимали зеленоглазые таджики) и караимы, совсем уже

неясного происхождения люди. В полуподпольном еврейском фольклоре Кашгарки они считались слегка запачканными необъяснимой выживаемостью в годы немецкой оккупации.

«Они как-то доказали немцам, что они не евреи», – говорил дед.

«Как доказали, деда?»

«А так: нас, говорят, не было, когда тому парню прибивали гвоздями ноги к деревяшке. Мы, говорят, в то время были сильно заняты в Вавилоне».

Летнее утро, каникулы, веранда, покрытая парчовой шалью утреннего солнца. Дед сидит на своём топчане ещё не бритый, ещё не пристегнувши протезы. Бабка перед ним – на низкой скамеечке, бинтует ему культи ног, раздражённо вставляя свои замечания в нашу, как считает она, идиотскую беседу… А перед моим вечно возбуждённым воображением встаёт эпическая картина. Деду уже никто не прибьёт ноги к деревяшке, как тому парню, у него ведь уже нет ног. Это хорошо! А хитрожопые караимы похожи на восьмой отряд в пионерлагере, когда всех нас согнали на линейку из-за разграбления «комнаты славы» с кучей её никчёмных спортивных кубков и портретов погибших футболистов «Пахтакора». «Кто это сделал?!» – «Не мы! – вопил тридцатью глотками восьмой отряд. – Нас тут не было! Мы были в походе!»

«А кто прибивал?» – живо интересуюсь я.

«Хватит, Сендер!»

«Не знаю, меня там не было», – презрительно отвечает дед.

«И меня!» – вставляю я.

«И тебя там тоже не было».

«Хватит! – повторяет бабка. – Генук! Никому не нужная майса», – тремя словами расправляясь с чужим богом.

Кстати, в юности я была очарована поэзией Нового Завета, как-то легко пролетая все имеющиеся там оскорбления в адрес моего народа, что за минувшие века понатыкали в текст переписчики евангелий. Я пропускала все эти «порождения ехидн», «фарисеев», все проклятия и обзывалки – справедливо полагая, что судить ни о чём не могу, ибо меня там не было.

Я много читала на богословские темы: труды Сергея Булгакова, Николая Бердяева, Владимира Соловьёва… Модный в эпоху застоя религиозный тамиздат таскала мне соседка Люба, художница и интеллектуалка, христианка новейшей антисоветской формации. В те годы такие фигуры частенько встречались в интеллигентской среде. И однажды, принимая от меня очередную стопку прочитанных книг, для конспирации завёрнутых в газету, она сказала: «Вы уже так свободно ориентируетесь в теме, Дина. Почему бы вам не сделать следующий логичный шаг? Я договорюсь с отцом Николаем…»

Это и в самом деле был бы вполне логичный шаг, и я знакома со многими, кто его сделал, легко перешагнув через две тысячи лет погромов и костров инквизиции, через непременные гетто европейских городов, через унижения черты оседлости; наконец, через то самое грандиозное всесожжение моего народа в середине двадцатого века.

Просто они мало что знали на эту тему. В конце концов, это было давно и их там не было.

Перед моими глазами встала картина из детства: безногий дед на залитой солнцем веранде, бабка, бинтующая его культи, которые никто уже не смог бы прибить гвоздями к деревяшке… «И тебя там тоже не было» – произнёс в памяти насмешливый и ворчливый голос деда.

«Нет, Люба, спасибо», – возможно, слишком быстро и слишком вежливо отозвалась я.

Итак, кто там ещё в кольце людей моего детства, хранящем меня на всех моих путях? Ах да: ещё горские евреи, которых я представляла себе в таком горном, отдаленно-витом антураже.

Отдельным плотным островом – процветающая армянская община, её роскошное кладбище, на чьи тенистые и цветущие аллеи мы сбегали с очередной пары лекций. Какие познавательные прогулки, какие грандиозные мавзолеи подпольным цеховикам, бандитам, спортсменам, консерваторским профессорам! «Рубен наш гордый! От коварной пули ты голову свою…» – чего-то там. Или: «Красавица Амест, сражённая болезней…» – какие всё шикарные названия для романов! Когда-нибудь напишу…

А немцы, основательные и обстоятельные хозяева, переселённые к нам из сёл и городков Поволжья! А корейцы – умные, и молчаливые, и работящие! Я помню двух-трёх с именами шекспировских героев: Гамлет и Макбет! Зато фамилия у всех была, кажется, одна – Пак. Ну, ещё одна – Ким; в крайнем случае – Цой. Но то уже представлялось ненужной расточительностью. А дети греческих коммунистов – вот от кого держаться надо было подальше, несмотря на приятную и вездесущую в Греческом городке музыку Микиса Теодоракиса.

Ну и свой цвет, экзотику, гортанный говор в бурлящий гомон толпы на улицах и в парках добавляли иностранные студенты: Ташкент был городом индустриальным, с изрядным количеством вузов. В Ирригационном институте, например, учились выходцы из стран Африки, из Индии и Пакистана.

Как подумаешь о привычной ташкентской разноплемённости, среди которой мы выросли, – вот где надо было строить Вавилонскую башню! И знаете, там бы её достроили, ибо все «народности» худо-бедно изъяснялись на советском волапюке.

Все порассыпались, пораскатились…

Праздник воспоминаний

Впервые попав в Израиль, я привычно окунулась в разноплемённую пестроту здешних лиц, золотую патину пыльцы в воздухе и на стволах деревьев, услышала гундосый ор и напористый распев базара, вдохнула запах пряностей и синий дымок шашлыков… – и почувствовала себя в своей тарелке: это был всё тот же Ташкент. Всё так же, с разными акцентами на иврите объяснялись люди, попавшие сюда из дальних пределов земли. И при всём отчаянии и тоске

начальных лет эмиграции я поняла, что буду писать, – то есть не умру, что одно и то же.

Я слышала, что роман «На солнечной стороне улицы» воспринимается читателями как моя автобиография. Конечно, это иллюзия; хотя для писателя иллюзия – вполне прочный материал, выдерживающий многотонный вес.

Автор часто пользуется прикрытием, маской с собственным именем и внешностью – это даёт выход более доверительной, более открытой интонации и сокращает расстояние между читателем и книгой. Этот роман – сплав вымысла, собственной памяти, собственной и чужой боли, рассказов близких и друзей. Сплав мыслей, чувств, воспоминаний и образов, любви и ненависти… Иллюзия. Но ни в коем случае не фотография.

Главные героини романа – художница Вера Щеглова и её мать Катя – ничего общего с моей жизнью не имеют, это вымышленные фигуры. Вообще, в моих книгах гораздо больше вымысла и больше «отвлечённого» «чужого» материала, чем кажется на первый взгляд. Моя скромная биография никак не могла бы вместить жизни героев всех моих книг. Профессия писателя предполагает, конечно, личное включение – на уровне наблюдений и каких-то кусочков собственного опыта. Но писательское воображение – куда более изощрённая и многослойная материя, чем принято считать. Факты, эпизоды и сцены, лично прожитые автором в жизни, в прозе всегда преображаются, порой до неузнаваемости. Для меня, как для любого писателя, и воспоминания в первую очередь – материал, который можно вывернуть наизнанку, вытянуть из него любую нить, вычленить любой образ, характер или ситуацию; перелицевать, перекроить и сшить совсем иную жилетку. Это наш драгоценный багаж, «праздник, который всегда с тобой»… – или наказание, не отменимое ни совестью, ни памятью, ни ночным забытьём. Да и как можно «не вспоминать»? Это не в наших силах…

«…Навязчивый образ, который всплывал у меня при чтении этой вашей книги, я бы назвал кинематографическим, – писал мне Рафаил Нудельман, блистательный переводчик Станислава Лема, Меира Шалева, Агнона… – На экране – карта огромного города. Она превращается в картины проплывающих улиц, переулков, зданий и площадей… Но вот одна из картин укрупняется,

объектив словно въезжает всё глубже и глубже, на экране уже только одна клеточка этого города – какой-то двор, какой-то дом, чье-то лицо. Оказывается, роман – об этой клеточке. Приблизившись, она становится местом жизни героев, местом сюжета. И вдруг объектив начинает отъезжать, всё стремительней, вот уже и город стянулся в клетку, в точку, и внезапно мы видим, что эта точка – в глазу человека, автора. Затем и сам автор оказывается всего лишь изображением в крохотной клеточке своего мозга, в которой, в свою очередь, проявляется лицо героини. И тогда мы спрашиваем, вслед за вами – кто же о ком пишет? И кто кого придумывает? Это литература придумывает жизнь или жизнь придумывает себя в виде литературы? Где этот город, эти герои, эта «реальность» – в реальности или творится в момент её придумывания? И куда они все исчезают (включая автора), «когда доплывут»?

Пейзаж и окружение, конечно же, меняют писателя, как меняют его годы, переезды, новая любовь, новые члены семьи… Его меняет даже направление ветра! Ведь кто такой писатель? – взрослеющий или стареющий организм, склонный к чудовищной рефлексии; психически хрупкое и мнительное создание. Труд его тяжек, долог и согбен – что-то вроде сбора хлопка. Мучительное занятие – писание книг; всё равно что любить кого-то долгой безысходной любовью. И потому писатель дважды испытывает любовные страдания – в жизни и в книге, – вдвое больше, чем другие, обычные люди. И все его переживания, недомогания, радости и боли – всё выливается на бумагу. Кажется, Л. Толстой говорил, что не может писать, когда у него болит живот.

Когда в очередном интервью меня спрашивают, какое место занимает литература в иерархии дел и обязанностей, которыми мне приходится заниматься в жизни, я отвечаю: примерно то же место, что печень в организме. Это тот самый случай, когда патологоанатом говорит на вскрытии: «Жаль, у больного было такое здоровое сердце. Мог бы жить и жить».

Если бы не литература, я бы могла отлично жить, была бы лёгким общительным человеком, прекрасной хозяйкой, заботливой женой и терпеливой матерью. Можно ещё присмотреть себе хобби, какое-нибудь увлекательное занятие: шитьё, вязание, макраме, составление икебан или что там ещё…

Печень не позволяет.

Словом, писатель подвержен чему угодно. Например, страху. А уж в буйном и знойном городе моего детства и отрочества страхов – больших и маленьких – было предостаточно.

Каждый год по весне в Ташкент стекалась криминальная шваль со всей огромной страны.

Преодоление страха

Лето, каникулы, мне лет девять, может, десять…

Сейчас уже не помню точно, как это начиналось, с чего поползли эти слухи. СМИ тогда работали иначе, журналисты ревностно служили советской власти и держали рты на замке, а Интернет был уделом далёкого будущего.

Сначала глухой разговор на лестничной клетке у мамы с соседкой, чей муж возил начальника следственного отдела уголовного розыска: «Убийца, маньяк, уже несколько случаев… охотится на детей… Держите Динку дома, Ритсанна, чё она у вас вечно по бахчам шатается, больно вольная!»

Сначала просто холодок пробегал по хребту – надо же, убийца! Даже интересно! Но ведь это не про меня, это про кого-то там? Чепуха, наверное… Потом уже во дворе все заговорили разом – и кумушки у подъездов, и друзья-приятели. У кого-то братан был «мильтон», рассказывал – ужасы такие! Кровь стынет. Настоящий маньяк, животы жертвам разрезает, кишки по деревьям развешивает… как в театре. Такой артист. И поймать не могут. Страх!

Поскольку, по моему убеждению, писателями не становятся, а таки рождаются (если не с готовым собранием сочинений, то уж со жгучим врождённым воображением – точно), моё личное воображение было запущено этими слухами, обрывками фраз и сплетнями на полную катушку. Картины – мерзкие, леденящие – вспыхивали в моей голове в ужасающих подробностях, никогда мною не виданных, никакими фильмами не спровоцированных. И чем дальше, тем пуще и ярче: и звуковая аранжировка соответствующая. То ещё крутилось кино…

Холодная змея шевелилась в животе, поднимала голову и жалила сердце. С наступлением сумерек, какая бы игра ни была в разгаре, я шмыгала в свой подъезд, озираясь, взлетала на два этажа и бешено колотила кулаком в нашу дверь с чувством, что за моей спиной стоит убийца, артист… тянет руки с ножом, сейчас отрежет голову!!!

Скоро я вовсе перестала выходить на улицу. Облюбовала в большой комнате наш старый цветастый диван и сидела на нём, подобрав ноги, с утра до ночи. Меня сотрясал нутряной лихорадочный страх…

Нынешние родители наверняка углядели бы в своём ребёнке это странное состояние и поволокли к психологу. В моём детстве всё было проще: «Чего ты бездельничаешь? Ну, возьми книжку почитай… или порисуй. Не утомилась в стенку глядеть?» Так проходили дни – летние, прекрасные, виноградно-арбузно-дынные. Соседние бахчи ломились от урожая. Сторожа там были ленивые старики, добыча практически ожидала тебя, звала: сорви меня, расколи камнем мою полосатую шкуру, впивайся всеми зубами, языком в мою сочную сахарную плоть!.. Я сидела на диване, обняв колени, и гоняла в истощённом мозгу леденящие картины кровавых ужасов.

Тут заболела ангиной моя младшая сестра. Ангина – это было понятно, температура – дело опасное. В таких случаях на дом вызывался детский доктор Садык Абдуллаевич. Я не знаю, каким врачом он был, но симпатичнейшим был дядькой, толстяком со смешным акцентом. Заболевших пациентов объезжал на своём стареньком синем «москвиче».

Доктор приехал, вымыл руки и, проходя мимо меня в детскую, где лежала сестра, подмигнул. «Драсссь» – прошелестела я.

Посидев у сестрёнки, выписав рецепт и побалагурив с мамой, Садык Абдуллаевич вышел, двинулся мимо меня в прихожую, но остановился. Сказал:

«Первий раз жизня вижю Динкя сидет, а не пригат-скакат. Пачему сидишь?»

«Да что-то она который день уже куксится, – сказала мама. – Кто-то во дворе испугал, что ли. Там бабки на лавочках чешут языками почём зря, ужасы придумывают».

Я молчала, уставившись в пол. Ледяная змея ворочалась в животе и жалила, жалила нутро…

Садык Абдуллаевич шагнул ко мне, пощупал мой лоб, помолчал. Потом сказал маме:

«Рита-хон… Можна я Динкя заберу? Немножкя гулят будем. Сейчас кишлак едем недалеко, племянник женца… Музыка там, карнай-сурнай, шашлик-пилов… детишкя много бегает… Весёлий ден будыт».

«Да, конечно, – сказала мама, – забирайте её с моих глаз, Садык Абдуллаевич».

Он крепко взял меня за руку, стащил с дивана, и мы пошли. И пока шли к машине, пока я усаживалась рядом, пока выезжали по нашим улочкам, мне становилось не то что легче, но словно приоткрылась какая-то форточка в мозгу и туда стал просачиваться свежий воздух. Я молчала, а Садык Абдуллаевич говорил, говорил со своим смешным акцентом – что вот племянник Джума пришёл из армии и приспичило ему жениться, слава богу… Садык-ака и сам был фронтовиком, однажды приходил к нам в школу на День Победы. Я помнила даже, что у него такой же орден, как у моего дяди Яши: «Славы» второй степени.

«За бараном только заедем», – сказал он, и мы поехали в его родную махаллю, где нас дожидался свадебный баран. Для того чтобы тот поместился в машину, из «москвича» вынули заднее сиденье, и баран поехал с нами. У него был надменный патрицианский профиль, у того барана.

«Его убьют? – спросила я и… вдруг заплакала. – Его заре-е-ежут?!»

«Ти щто?! Его после свадба продадут на другой свадба…»

«Зачем?!»

«Обичай… – он руками развёл и снова схватился за руль. – Подарка нужен. Резат будут молодой барашкя, мягкий-сочьний. Этот просто генерал, да? Баран-генерал. Ездыт со свадба на свадба туда-сюда…»

«А… зачем?» – Я подумала: может, это такой узбекский обычай, которого я не знаю, когда свадебный баран просто ездит по свадьбам на машине, как маршал, принимающий парад.

«Да не… Адын раз барашкя не резали, он рос-рос и вирос. Тепер он красивий, толстий. Хароши подарок, плохой еда… Ехай спокойний, плакыт не надо».

И мы ехали, ехали… Не так уж и близко оказался этот кишлак, где праздновали свадьбу. Солнце стояло ещё высоко, листья тополей золотились вдоль ухабистой дороги, в открытое окно «москвича» бил травный ветер предгорья. А баран сзади топтался и вздыхал, и пах терпким сельским запахом. Мне становилось всё легче – мы ведь уезжали от страшного города, где лютовал убийца, ужасный мясник… Артист. Мы ехали туда, где не было беды, где нас ждал никох-туй, свадебное торжество.

Подъехали наконец…

Издалека уже, со двора и соседнего с ним пустыря, где длинными дорожками расставлялись столы, где в огромных казанах уже готовилась еда, неслась пронзительная музыка трёх сурнаев и россыпь дойры – бубна, у которого по ободу прикреплены 60 металлических колец, так что музыкант и ритм отбивает, и потряхивает его, рассыпая вокруг серебряный рокот. Вокруг народу было до черта, – уже в дом привезли невесту! – бегали-суетились женщины и важно расхаживали мужчины в шёлковых полосатых чапанах. И пахло издалека, так упоительно пахло, что у меня, с утра ничего не жравшей, сводило живот. Садык Абдуллаевич, конечно, сразу про меня забыл, но успел передать меня какой-то своей не то внучатой племяннице, не то подруге троюродной внучки… А дальше всё закрутилось, меня потащили, сунули в руку кусок лепёшки, тарелку с пловом, усадили во дворе на супу, всю в цветастых подушках и курпачах.

Я всё забыла – вокруг столько было ребятни, столько оглушительной пронзительной музыки, грома, вкусноты, чумового веселья! Помню только, как жонглировал горящими головнями голый по пояс, блестящий от пота, бритый наголо богатырь, как танцевали по кругу мужчины в чапанах, препоясанных платками, и как накладывал баранину на тарелки армейский друг жениха Ашот, у которого под закатанным рукавом рубашки синела татуировка: «Не забуду брата Сирожу, что пропал через бабу».

Потом спустился вечер, и над горным кишлаком со всей роскошью его запахов – травы, деревьев, погасшего очага, тёплого хлеба – распростёрся черно-синий шёлковый океан, полный щедрых огней. Горячий свет доплескивал с неба на землю; такие крупные звёзды жарили в вышине, каких я в городе никогда не видела. Я нашла пылающий Орион, Большую Медведицу с её незаконченной геометрией; целую бурю завихрений из серебряной пыли, острые игольчатые пригоршни небесного бисера. Всё двигалось, дышало, подмигивало… Здесь невозможно было соскучиться!

В город мы, конечно, в этот вечер не вернулись.

На ночь меня забрали на женскую половину дома, и я впервые за многие дни уснула как убитая под горячим боком чьей-то двоюродной сестры или троюродной племянницы.

И что-то произошло с моим страхом за эту ночь. Он не то чтобы исчез, но как-то растопился от присутствия людей и простой искренней радости. Страх отдалился и притупился. И когда ближе к полудню мы с Садыком Абдуллаевичем, вновь накормленные до отвала, сели в запылённый «москвич» и тронулись в обратный путь, я уже могла говорить. Могла рассказать – что со мной происходит. Садык Абдуллаевич молча слушал, глядя перед собой на дорогу.

«Его поймают?» – спросила я.

«Поймают… – ответил он, забыв перейти с узбекского на русский. – Или он уйдёт из нашего города».

«Как – уйдёт?! – воскликнула я. – Значит, поедет убивать в какой-то другой город?!»

Садык Абдуллаевич повернулся и внимательно на меня посмотрел.

«Его, конечно, поймают… – повторил он, как сейчас понимаю, для моего успокоения. – Но ты должна знать, что в мире много зла. Просто знать это. Добра много. И зла много… Надо просто жить, понимая это».

А вскоре начался новый учебный год, и… я как-то не вспомню конца этой истории: может, и поймали убийцу, а может, он и правда улизнул в другие места, ибо зло свободно перемещается по земле и приобретает разные обличья. Надо просто жить, понимая это…

После романа…

Закончив книгу, ты сбрасываешь её, как старую надоевшую шкуру.

Отработанные темы и образы романа, связанные с ним мысли тебя уже не волнуют. Книга вышла, затвердела в некоем вневременном пространстве, и писателя даже раздражает, когда кто-то пытается вернуть мир завершённой книги в сферу его внимания.

После выхода романа «На солнечной стороне улицы» многие ташкентцы стали присылать мне свои воспоминания, замечания, размышления о родном городе. Это роман встряхнул их, встрепенул, обновил ощущения важности собственной жизни, драгоценности собственных воспоминаний.

Не могу передать, как это меня раздражало. Я писала этот роман двадцать шесть лет, с перерывами, – и отныне ташкентская тема меня не только не интересовала, но страшно мешала, ибо в то время я уже обдумывала и начинала писать роман «Почерк Леонардо», в котором меня ждали Киев, Монреаль и Франкфурт, провидчество, оптика, зеркальные фокусы, иллюзионы, мотоциклы и цирк – целая вселенная другого романа, новые ошеломительные миры, и каждый требовал целиком всей моей жизни, памяти, времени и напряжённой работы воображения.

Но у читателей моего «ташкентского» романа только начался охотничий сезон, и они жаждали ПРАВДЫ. Они рисовали планы улиц, присылали ценные поправки с указаниями, до какого года на самом деле пятый трамвай шёл по улице Жуковской. Они донимали меня воспоминаниями о своём родном городе, о великом Городе их детства и юности, о Городе великого братства белых колонизаторов…

«Вы многое верно подметили, – писал мне какой-нибудь Мотель Эльевич, ныне проживающий в Майами, – но я хотел бы поправить вас в том, что касается крупных предприятий текстильной промышленности, где я проработал сорок лет заведующим отдела ОТК».

Я, уроженка Ташкента, человек вежливый, особенно к своим читателям, терпеливо отвечала на их письма, писала и писала благодарности и всякую ничего не значащую хрень. Хотя сказать мне хотелось только одно: «Дорогие земляки, оставьте меня в покое со своими воспоминаниями о ташкентских горлинках, которые так по-особенному ворковали на рассвете! Сейчас мне плевать, куда шёл третий или пятый трамвай и заворачивал ли он на улицу Маломирабатскую! Сейчас меня интересует совсем другое!»

Время наносит свои отметины и шрамы…

…не только на наши лица и тела, но и на облики наших родных городов. Хотя верно и то, что с Ташкентом произошла метаморфоза кардинальная: распался Советский Союз, который объединял – плохо ли, хорошо ли – народы, живущие во всех подвластных ему республиках. В империи, любой, самое важное, чтобы даже в глухой провинции у моря народы жили мирно, платя кесарю его дань. Мы жили мирно, мы платили исправно…

Когда Союз покатился в тартарары, распались и человеческие, и житейские связи, вообще «распалась связь времён». Недавно, спустя много лет, я побывала в Ташкенте. Очень чистый зелёный город с прекрасно благоустроенными и полностью перестроенными базарами. Там и тут возвышались великолепные, облицованные мрамором не знакомые мне здания. И никакой благословенной пестроты лиц, ни гортанной радости множества акцентов в гуле уличной толпы, ни блаженной расслабленности, воли сообщества людей, живущих вдали от жёсткой руки столичных властей. И горлинок за окнами роскошного отеля я не услышала на рассвете. Я написала тот роман, и мой Ташкент, как затонувшая Атлантида, ушёл на дно моей памяти и там пребывает в лучах ослепительного солнца.

«Из дому надо выходить с запасом тепла…» – говорит одна из героинь моего романа. И чуть ли не в каждом интервью, посвящённом этой книге, звучала эта фраза, поднятая на вершину афористическую.

Афоризмы – это изюм литературы. Они высушиваются от лишней влаги и доводятся до кондиции самой биографией писателя. Они не только многажды обдуманы, но даже порядок слов в них трижды заменён и вновь возвращён на место. Авторский афоризм – золотой запас творчества. А выглядит – как тот самый экспромт, о котором Пушкин говорил, что он должен быть тщательно продуман.

На самом деле те самые слова пробурчала в телефонную трубку мой консерваторский профессор Галина Николаевна Дубровская. Вот уж фигура была – одинокая, странная, диковатая и суровая! Я боялась её почти так же, как боялась отца. Ученица Владимира Софроницкого, она передавала нам принципы и стиль пианистического мастерства не московской, а ленинградской школы. Тощая, высохшая, морщинистая, с цигаркой в уголке рта, вечная старая дева, посвятившая себя Музыке и ученикам, – она не понимала и не принимала ни единой причины, чем-то мешающей Учёбе.

С содроганием вспоминаю случай, который давно уже не пересказываю никому, но время от времени вижу во сне с пугающей ясностью.

Мой сын родился тридцатого июня, а годовой экзамен за второй курс консерватории был назначен на двадцать шестое июня. Годовой экзамен – это не бирюльки, штука серьёзная, программа обширная и обязательная: полифоническое произведение, крупная форма (концерт или соната), технически сложные этюд и пьеса. Я дохаживала, вернее, переваливалась уткой последние дни до родов и уже не чаяла сдать оба этих экзамена, по крайней мере, освободиться от брюха, которое не давало приблизиться к клавиатуре. В один из поздних вечеров незадолго до экзамена – я уже собиралась ложиться, – раздался звонок телефона.

«Прибегай немедленно! – услышала я прокуренный голос моего личного дракона. – Мне удалось захватить зал на репетицию. Живо!»

За актовым залом накануне экзаменов охотились (для генеральных прогонов программы) все преподаватели и студенты. Но никому, кроме Дубровской, не пришло бы в голову назначить репетицию на двенадцать ночи. Не говоря уже о том, что «прибежать» я никак не могла, могла с грехом пополам притащить своё брюхо.

«Галина Николаевна… – умоляюще пробормотала я, – только из душа… у меня волосы мокрые».

«Что за чушь! – взревела она на том конце провода и шумно выдохнула папиросный дым. – Хватит болтать, обмотай полотенцем голову и живо сюда, время пошло!»

И я обмотала голову полотенцем и пошла, вернее, потащилась через тёмный Алайский, с его заколоченными на ночь лавками и страшными пустыми рядами, влача по ночным переулкам и тупикам своё девятимесячное брюхо, стуча зубами от страха – навстречу смерти, ибо, как и многие первородящие, была уверена, что умру от родов.

Так вот, перед тем как опустить трубку на рычаг, мой профессор, дьявол её побери, веля одеться потеплее, произнесла ту самую руководящую фразу: «Из дому надо выходить с запасом тепла!»

…ту самую фразу, которая спустя тридцать лет была извлечена из пыльной кладовки памяти, отчищена, проветрена, подштопана там, где её побила моль; осветлена и окроплена грустью и нежностью (обычные писательские манипуляции в приготовлении фирменных блюд) – и оказалась весьма и весьма уместной в романе.

А теперь выясним отношения

Первое, что я помню в своей жизни: виноградная беседка во дворе бабушкиного дома. Видимо, я лежала там на кровати и смотрела вверх, откуда сквозь узор виноградных листьев прыскали фиолетовые снопы солнечного света. Тяжёлые

чёрные грозди винограда свисали с глубины синего неба. Я в этом выросла, и ослепительность летнего дня была для меня столь же естественна, как для жителя Чукотки – снежный наст на дорогах. Но от приезжих людей много раз слышала о впечатлении, производимом лавиной этого света, благословенной истомой летней жары, неохватных курганов арбузов и дынь, источавших пряные запахи Востока.

Дети Юга, мы по-настоящему знаем толк в понятии «свет», потому что светом с детства насыщено наше зрение, кровь и воображение.

Я слегка теряюсь, когда меня спрашивают о Родине, подразумевая Россию. Не то чтобы в этом вопросе я чуралась высоких слов. В современном мире все где-то родились, и не обязательно там, где пригодились, а мир так изменчив, границы так ненадёжны и взрывоопасны. Казалось бы, пора и подготовиться, выстроить свой ответ, привести какую-нибудь убедительную цитату. Что-нибудь такое:

«Я не мог ответить, почему покинул родину, так как не покидал её никогда» (Марек Хласко).

Или совсем противоположное по смыслу:

«Когда-нибудь слово «родина» исчезнет. Люди оглянутся назад, на нас, увидят, как мы жались между границ, как убивали друг друга из-за чёрточки на карте, и скажут: вот дураки-то были» (Марио Варгас Льоса).

Нет, с этим я не согласна. Вовсе необязательно убивать кого-то, чтобы потеряться на карте среди когда-то родных, но иных уже улиц, среди новых, незнакомых тебе лиц.

Писатель внутренне сопротивляется, когда его приписывают к какому-либо ведомству, ибо не носит на лацкане своей личности ярлык, как носят брошку или орден. Он может быть не только гражданином своей страны, не только гражданином мира, но и гражданином прошлого или будущего, прожитого им в его книгах. Он может быть гражданином сразу нескольких сочинённых им

стран… «Паспорт писателя – его стиль» (В. Набоков).

Любой серьёзный писатель – явление очень сложное. У него много лиц, несколько этапов творчества, он зависим от пространства, где живёт, и от многих мест, куда попадает, путешествуя. Зависит от своей родни и ощущения своих национальных истоков и в то же время намертво спаян с культурой, в которой воспитан. Помимо прочего, для него важна такая штука, как настроение (чёрт разберёт, что это такое применительно к данной личности), и настроение это постоянно находится в зоне штормовой погоды, так как зависит от замысла будущей книги, в которой писатель всегда хочет ускользнуть от себя – предыдущего.

«У меня нет принципов, – говорил Акутагава, – у меня только нервы».

Для меня слово «Родина» звучит несколько общо, несколько более расплывчато и грандиозно, чем я это чувствую. Оно не так сурово, как военнообязанное, краснознамённое слово «Отчизна», но всё равно отдаёт пионерским салютом, лагерными вышками, пригородным цементным заводом и торжественной клятвой. К тому же оно плохо гнётся и не укладывается в детской памяти. И в самом деле, что означает в географическом воплощении «шестая часть земли»? «Там хмурые леса стоят в своей рванине. Уйдя из точки «А», там поезд на равнине стремится в точку «Б». Которой нет в помине» (И. Бродский). Зябковато представить эту махину и страшно вообразить свою сиротливую фигурку в просвисте необозримых земель. Но стоит лишь произнести «мой город» – и дело меняется, налаживается жизнь, улучшается климат… И прямо в руки мне скатывается полосатый арбуз, в который вонзается нож, вырезающий лично для меня алый сахаристый конус с чёрными скользкими косточками: «Пробий, кизимкя! Сахарни-мьё-о-д!» Лицо у торговца загорелое-молодое; чёрная, в белых огурцах тюбетейка на бритой голове, зубы белее школьного мела: «Ай, чиройли кизимкя!» (красивая девочка!) Какой острый нож, какой сладкий арбуз, какая сладкая ранящая боль воспоминаний!..

Всё это роднее писателю, чем некое заповедное слово, пусть даже оно пишется с заглавной буквы.

Глава третья

Странный человек, сочиняющий истории

Я стал литератором потому, что автор редко встречается со своими клиентами и не должен прилично одеваться.

Бернард Шоу

– В одном из своих интервью вы признались, что «прозаик Дина Рубина» – некий персонаж, созданный вами же. Эта маска вам необходима? Что вы скрываете за ней – личную жизнь, писательскую кухню, привязанности, фобии?

– Маска нужна любому человеку, без неё мы беззащитны и обнажены, как в бане. Видите ли, писатель, даже известный, это не рок-певец или шоувумен; наша профессия тихая, закрытая. И всё равно досужий до пустяков и сплетен мир валится на тебя ежедневно. Приходится защищаться… Если сколько-нибудь известный писатель к определённому возрасту не создал свою защитную «публичную личину», а щеголяет перед читателями, грубо говоря, в затрапезной пижаме или семейных трусах, то он либо открытый всем ветрам алкоголик, либо идиот. Разумеется, встречаются в нашем деле особо отважные и, что называется, «искренние люди», но мне всегда казалось, что это не от большого ума. Ум всё-таки предполагает стремление к защищённости в частной жизни.

Например, в домашнем обиходе я – молчаливый и довольно угрюмый персонаж, как ни трудно в это поверить. Могу целыми днями не произнести ни слова. Одинокий пишущий человек изначально странен и, как бы это помягче выразиться, диковат: его распирает постоянная внутренняя работа, ведь писатель – это такая мощная перерабатывающая установка, производящая ценные изделия из вторсырья. Его внутренний мир населён и перенаселён разными лицами, ситуациями, судьбами. Глубинные проблемы его личности разрешаются только на листе бумаги или на экране компа. Пребывая под вечным напряжением, писатель – в меру сил и нервов – отвлекается на собственную жизнь. Он, конечно, может быть душевным, добрым и интеллигентным… но крайне редко. У Набокова где-то есть меткая фраза о человеке «с глазами слишком добрыми для хорошего писателя».

Всё это не обязательно знать посторонним или, как я мысленно их называю, «внешним людям». И потому, когда приходит время выйти на публику, я выхожу, улыбаюсь, шучу, оживлённо отвечаю на вопросы читателей и журналистов. Это часть моей работы, и я её выполняю – под изрядным, повторяю, напряжением. Работаю – как вы сказали? – да: «прозаиком Диной Рубиной».

Как пишутся эти проклятые книги

Однажды я где-то вычитала признание известного артиста: чудовищность актёрской профессии, писал он, в том, что, переживая сильный драматический момент, например похороны близкого друга, актёр непременно думает о том, как бы это состояние запомнить и затем достоверно сыграть.

Очень точное наблюдение. У актёров – запомнить, чтобы сыграть, у писателя – запомнить, чтобы запечатлеть. Польский писатель Марек Хласко заметил как-то: для того чтобы писать книги, надо полностью потерять стыд; писательство, говорил он, – штука более интимная, чем постель.

Увы, это так. Мозг писателя, все органы его чувств – это такая независимая от носителя нравственных принципов рентгеновская установка, которая просвечивает всё, что попадает в поле её излучения. Писатель, прежде всего, рыщущий сюжетов волк.

Вот типичная ситуация:

Вы встретились в кафе с другом-писателем, чтобы выговориться перед ним. Вы переживаете тяжёлый период в жизни – разводитесь с женой, делите имущество и детей, встречаетесь с адвокатами… В общем, свет вам не мил, и только совет друга – писателя, инженера человеческих душ (!) – призван как-то облегчить душевную боль.

Инженер человеческих душ сидит напротив вас с искренним лицом, участливо качает головой, хмурит брови, цокает языком. Впечатление, что он полностью погружён в ваши проблемы, глубоко сочувствует и напряжённо ищет, чем бы

вам помочь.

Боюсь вас огорчить: мозг его в те же минуты с безжалостной точностью фиксирует не только все детали вашей «вкусной» истории, не только все слова-обиды вашей супруги, но и выражение вашего расстроенного лица, и то, что утром вы посадили на рукав рубашки две капли кофе, а левую щёку выбрили не так тщательно, как правую. Краем глаза он видит, как за соседним столиком бодро щёлкает по клавишам лэптопа молодой человек, похмыкивая и припрыгивая то на одной, то на другой ягодице. Замечает, с какой нежностью клюнул того в щёку другой молодой человек, проходящий мимо… Он запоминает, что задница молодой официантки похожа на ступеньку, а брови она выщипала так тонко, что поверху пришлось рисовать карандашом вторую пару бровей.

Но, главным образом, в эти вот минуты вашей душераздирающей исповеди он обдумывает диалог двух героев из своей повести, которых минуту назад решил посадить в такое же кафе: хорошая нейтральная обстановка для трагической новости.

«Тогда я ей говорю… – бубните вы с несчастным лицом. – Хорошо, ты не желаешь разводиться как цивилизованные люди, будем разводиться со скандалом, и всё это отразится на детях».

«Это ужасно! Просто ужасно! – пылко и сочувственно произносит ваш друг-писатель. – Извини, покину тебя на минутку…» – и ушмыгивает в туалет, где достаёт блокнотик, ручку и, притулившись к раковине и игнорируя людей, моющих руки чуть ли не перед его носом, записывает: «двойные брови… жопа ступенькой… два нежных гомика… развод с несчастным полубритым лицом».

Через две минуты писатель выходит из туалета, пытаясь скрыть своё прекрасное настроение, ибо тот диалог двух героев, который утром был совершенно провален, сейчас сложился от начала до конца, как и вся сюжетная линия. «Да, шикарно небритая щека! – думает он, мысленно ликуя. – Шикарно!» А если что и заботит его, так только одно: в туалете он забыл отлить, и теперь нужно как-то объяснить свою вторую отлучку минут через пять… внезапным, скажем, циститом.

Вот как-то так, примерно. Прошу прощения.

Вообще, в качестве друга писатель пребывает ниже всякой критики. Хотя бы потому, что не может по первому зову «бросить всё и мчаться ради друга» куда-то там, неважно куда. Он ещё не закончил главу, куда ему мчаться?! Но он с удовольствием поболтает с вами по телефону вечерком, особенно если вы можете разъяснить кое-что по вашей профессии, что как раз понадобилось ему для новой книги. А уж если вы вернулись с Малых Антильских островов или с побережья Белого моря, переполненный впечатлениями и разными забавными случаями, то, будьте уверены, он нанесёт вам визит непременно, сегодня же! И, слушая ваши рассказы, ревниво предупредит, чтобы вы держали язык за зубами до среды, когда он снова приедет, уже с диктофоном, и всё запишет. «Не растрачивай рассказчицкого пыла перед всякими болванами! – говорит писатель. – И вообще, помалкивай. В среду повторишь всё свежаком, как в первый раз».

«Конечно, люди живут не для того, чтобы о них писали книги. Но всё же у меня отношение к людям производственное, я хочу, чтобы они что-то делали» (Виктор Шкловский).

Лёгких людей среди талантливых художников я пока не встречала. А большой талант – это вообще аномалия: он занимает в пространстве личности так много места и веса, что явный крен виден любому издалека. Человечество как объект любви мало заботит писателя. Да и невозможно любить человечество, похлопывая того по плечу. Писатель не миссионер в джунглях. Писатель всю жизнь занимается описанием пороков и добродетелей, что, в принципе, одно и то же (как ткань с лицевой и оборотной стороны). Он не может испытывать абстрактную «любовь к людям», не будучи святым человеком (то есть полным идиотом).

Нет, поймите меня правильно: писатель может участвовать в благотворительном вечере по сбору средств для больных какой-нибудь тяжёлой болезнью, но было бы крайне глупо ждать от него, что он станет дежурить по ночам у постели одного из таких больных. И не звоните вы ему каждый понедельник, приглашая на бесконечную вереницу подобных благотворительных подвигов. Не садитесь ему на голову! Эта голова предназначена для седалища его музы, в трепетном ожидании которой он пребывает ежеминутно.

Творчество накладывает на писателя свою неумолимую печать. Это своеобразное глубоководное погружение в материал, гулкое уединение мысли, умение быть и договариваться с самим собой похоже на артрит, уродующий суставы и выворачивающий наши конечности. Встречала я, конечно, и творцов, что выглядят вполне «нормальными людьми» – на первый взгляд. Второй взгляд бросать на такого не рекомендую.

Замечательный поэт Елена Игнатова рассказывала мне, посмеиваясь, как однажды много лет назад, в ленинградской молодости, её пригласил в гости Сергей Довлатов. Когда она пришла, за столом уже сидели и молча глазели на неё две юные девы. Они не встревали в разговоры, не проронили за вечер ни слова, смотрели на Лену внимательно и даже как-то опасливо. Это было не слишком уютное ощущение. Когда поздним вечером все трое вышли к остановке автобуса и Лена поинтересовалась – кто они и как оказались у Сергея, те признались, что Довлатов пригласил обеих «посмотреть на совершенно нормального поэта» – с условием, что те будут весь вечер молчать.

Но это не значит, что писателя надо обходить за версту или проклясть его со всеми его творческими потрохами. Просто, общаясь с этой редкой птицей, надо помнить, что писатель – прежде всего инструмент, предназначенный для создания текстов. Он всего лишь инструмент: тонкий, капризный, требующий постоянного заботливого ухода. Ради правды, художественной правды, он без тени сомнения пойдёт на чудовищный обман. И потому все мы – люди тяжёлые и эгоистичные, душевно одинокие люди, погружённые в себя и в свою работу. Поневоле угнетающие тех, с кем живём.

Но мы и самые счастливые из живущих существ: ведь только в наших силах воссоздать своё время, остановить мгновение, творить миры, вдыхая жизнь и вливая кровь в призрачных гомункулов. И в работе своей – любить, ненавидеть, сострадать, переживать бурю страстей, не выходя за порог своего кабинета. Иными словами, нам дано проживать десятки, а то и сотни жизней.

Такая вот профессия.

В защиту белой акулы

Творчество любого писателя – это, в сущности, набор нескольких тем, которые волнуют его в жизни. Ведь настоящий писатель пишет только о том, что его серьёзно волнует. У него просто ни черта не выйдет, если он влезет не в свою конюшню или напялит шапку не по Сеньке. Ни одной приличной фразы не выползет из-под его заблудшего пера.

Моя подруга Марина Москвина недавно выпустила книгу о своём путешествии в Арктику. Её поездка была продиктована беспокойством о том, что стремительно тают ледники. Это благородное беспокойство искренне снедает Марину. Потому и книга получилась отменной.

Я бы никогда не взялась за эту тему, то есть просто не приблизилась бы к ней. Хотя, конечно, в целом сочувствую всем этим заботам о природе и цельности нашего мира – и на прогулках с мужем всегда ругаюсь на городских рабочих-озеленителей, которые небрежно подрезают ветки туй и араукарий. Но всё это меня совершенно не волнует творчески. («Меня это не прёт», – коротко отвечает мой сын в принципе на любое моё предложение. И как я его понимаю!)

Однажды некая молодая дама, представитель Фонда защиты вымирающих видов земной и морской фауны, рьяно пыталась вытащить меня из моей подлой эгоистичной шкуры и заставить выступить на благотворительном вечере в поддержку то ли белой акулы, то ли гиеноподобной африканской собаки, то ли калифорнийского кондора. Она не знала, с каким виртуозом ускользания имеет дело, и первые минут пятнадцать забрасывала меня зловещими фактами, полагая, что те произведут на меня, как на любого нормального человека, нужное, то есть ужасное, впечатление и я содрогнусь и нырну прямиком в её благотворительные силки. После третьего раунда борьбы, разочарованная, она плюнула на меня – в переносном, конечно, смысле. Но было заметно, что с удовольствием проделала бы это и в буквальном.

Напоследок спросила, уже не скрывая презрительной усмешки: «А вы вообще любите животных?» «Конечно! – воскликнула я. – У меня керн-терьер Шерлок, гений чистой красоты! Меня знаете что занимает: почему он как дурак носится за мухой, а ящерицы ему по фигу?» Напоролась на ненавидящий взгляд и заткнулась. А жаль: о своём псе я могу говорить бесконечно долго и уже написала о нём целую новеллу. Но он нисколько не интересовал спасительницу белой акулы, ибо ему не грозило вымирание; по крайней мере, не больше, чем всем нам.

Так что вопросы и темы, которые писатель неустанно ворочает в своей болезной голове, с завидным постоянством возникают на страницах его книг, в речах его героев, в их мыслях и соображениях; диктуют их поступки и заставляют совершать немыслимые вещи. Эти бедные герои! У каждого писателя они так похожи на него самого, каким бы он, дай ему волю, стал в собственном воображении. Он и сам по себе – та белая акула, что носится по океану жизни с обломком гарпуна в собственном теле.

Писатель и его гарпун…

Взять хотя бы меня. С одной стороны, я человек закрытый и даже «при галстуке», то есть мало кто из журналистов способен раскрутить меня на спонтанную словесную реакцию (не говоря уже о драке). А самые сильные приступы нежности я испытываю наедине со своими книгами.

С другой стороны, вопросы, которые разрывают меня денно и нощно, рвутся наружу и жаждут воплотиться в живые образы. И потому многие мои вещи написаны от первого лица. И вот там-то я даю себе волю выражать то, что никогда бы не выразила при личном общении даже с близким человеком. Ибо то самое «первое лицо» на страницах книг на деле – моё триста восемьдесят восьмое лицо и «работает» в конкретной сцене на определённую узкую задачу. Ту или иную шокирующую мысль выражает некий персонаж под моим именем. Когда же мне становится неловко провозглашать какие-то совсем уже бесстыдные вещи, я выпускаю перед собой кого угодно, хотя бы и собственную семью: мужа, детей, собаку… Но это, опять же, не реальные муж-дети-собаки, а литературные персонажи. Мне просто легче всего изобразить именно их – я знаю их как облупленных. И говорят они ровно то, что я посчитаю нужным вложить в их уста.

Это не подлость, не провокация, не предательство и не шантаж, хотя настоящий писатель вполне способен на все эти проходные мерзости, – нет, это гораздо хуже: это творчество.

Любой яркий талант – и дар судьбы, и наказание. Ведь со всем этим хозяйством надо как-то жить. А это мука неизбывная. «Кто ничего не хочет, ни на что не

надеется и ничего не боится, – писал Чехов в частном письме, – тот не может быть художником».

Обаяние и излучение в мир крупного таланта всегда производит впечатление некоего особо глубокого знания жизни. Это полная чушь! Великие Гоголь и Достоевский в обыденной жизни были, судя по их письмам и дневникам, странными и довольно жалкими людьми. Разумеется, отнюдь не все писатели полные безумцы, как Гоголь, или мизантропы, как граф Толстой, или отвратительные ксенофобы, как Достоевский; отнюдь не все алкоголики, как Куприн, и не все курят гашиш, без которого не могут нацарапать ни строчки, как… неважно кто!

Берём наиболее благополучный и даже скучный случай, иными словами, берём меня – для удобства, ибо я у меня всегда под рукой. Ни курева, ни наркотиков в моей судьбе, ни восьми браков, ни лагерного прошлого, ни хотя бы алкоголизма. Приличное здоровье, благопристойный муж, терпимые дети. Ну чем не дар судьбы? Строчи свои книжки, получай гонорары, письма от благодарных читателей.

Нет! Нет покоя. Покоя нет, смирения, да простого удовольствия от простого бифштекса в моей жизни не дождёшься! Живу с ежеминутным гвоздём в макушке. С тем самым обломком гарпуна в спине. Любое событие, любой взгляд по сторонам, трогательная встреча, забавный собеседник, старый каменный колодец в центре двора, бархатная жара и ледяная луна – ничто не воспринимается как «просто жизнь». И потому любой настоящий писатель ненавидит всё, что связано с его профессией.

Отдыхали мы летом с друзьями в Италии. Казалось бы, радость, красота, расслабуха в каждой жилочке тела… Доломитовые скалы вгрызаются в кобальтовую синеву неба, треньканье коровьих колокольчиков на зелёных косогорах погружает в наркотический транс, ветерок обдувает открытые филейные части известного прозаика, а ночами звенят и пульсируют иллюминированные цикадами кусты. Сиди себе вечерком на лужайке перед домом, пей чай или чего покрепче, любуйся маленьким альпийским озером и не думай ни о чём… Или думай, чёрт тебя дери, о чем-нибудь приятном!

Нет! Сидит в мозжечке этот проклятущий словесный озноб и мучает тебя, и потряхивает – как лучше сказать: «невесомое альпийское озеро»? «зелёная гладь альпийского озера»? или ещё двадцать пять вариантов написания фразы?

Одинокий пишущий человек постоянно живёт внутри текста, он там прописан, не особо разделяя обыденную жизнь и литературный образ. Увидев мужчину в слишком тесном костюме, он походя заметит, что человек этот втиснут в костюм с помощью обувной ложки. Это органика речи писателя, органика его мышления. А когда хорошо идёт работа, когда катит сюжет и герои уже во всём сложившиеся люди, большую часть суток и большую часть своих мыслей писатель проживает в романе. И называется: Автор, нечто вроде греческого Хора.

Жить с ним невыносимо…

Помните советскую мясорубку, в которой сломаться мог только стол, к которому она привинчивалась? В процессе работы мы яростно крутим ручку подобной мясорубки: формулируем самих себя и мир, что нас окружает. Собственные художественные ценности, опоры собственной личности – вот поле битвы художника. Кстати, они могут совпасть с ценностями «общечеловеческими», так сказать, цивилизационными. А могут и не совпасть, не беда. В творчестве важно поладить с самим собой. Ибо то, чего не выносит душа, чрезвычайно вредно для писателя. Когда Зощенко писал: «Страх писателя грозит потерей квалификации», – он имел в виду провал профессиональный. Компромисс чреват именно художественными потерями. В этом смысле писателю вредны не только политические связи, интересы и влияния, но и религиозные. Религиозные – особенно. Религиозность никак не коррелирует с талантом. Мешать – может. Как только писатель упирается макушкой в запреты и заповеди, пусть и божественные, он перестаёт расти как Художник.

Создатель мини-вселенных вообще должен быть чрезвычайно осторожен в отношениях с Богом. У нас своя коммерция, у него – своя.

Вспоминаю замечательную женщину, скульптора и живописца Нину Ильиничну Нисс-Гольдман, она стала прототипом Старухи в моём романе «На Верхней Масловке». Прожила девяносто восемь лет, до последнего дня оставаясь энергетическим и интеллектуальным центром огромной компании людей самого разного типа, калибра и судьбы. Были в той компании и религиозные неофиты всех мастей и конфессий. И когда кто-то из новообращённых подбирался к

старухе с намерением обратить и захомутать – дабы «спасти душу» накануне близкой кончины, – она спокойно отвечала: «Благодарю вас, не беспокойтесь о моей душе: когда я держу в руке кисть, я молюсь».

Какова цель творчества? Странный вопрос. Какова цель извержения вулкана?.. Видимо, я не знаю ответа, а может, и знать не хочу.

Писатель, повторяю, должен быть кристально отточенным инструментом. Лазерным. Что касается биографии его души, она (биография, да и сама душа) может быть любого качества, – она тоже материал для творчества. Известное выражение «всё на продажу» в нашем случае можно переосмыслить: всё на творчество.

Вот самый обычный сюжет. Ты встречаешь мужчину, влюбляешься, выходишь замуж, рожаешь на свет божий ребёнка. А потом любовь уходит, такое случается. Наступает расставание.

Душа, заложница творчества, в это трудное время проходит разные этапы. В момент расставания она взбудоражена и обессилена, она – в обиде, ненависти, в разрыве и раздрае. Ты даже не можешь работать. Ты просто истекаешь горем, и ядом, и жалостью к себе…

Но всё это в конце концов заканчивается, успокаивается, боль утихает. Затем проходит какое-то время – год или три, или десять лет, – и… пережитые события возвращаются, тревожа тебя уже иначе, ибо ты иначе их обдумываешь – в контексте литературного сюжета. Наконец, начинается работа: преображение прошлых событий, переплавка их в ряд строчек, абзацев, страниц.

И вновь ты в раздрыге-раздрае, ты вновь истекаешь горем, но уже совсем иначе, совсем в ином качестве. Это второй этап преображения души, куда более высокий, – без мелочей, без барахла, вроде жалости к себе; приправленный изрядной дозой горькой иронии. Твоя орлиная, огранённая инструментарием творчества душа выходит из написанной повести очищенной, ясной, спокойной. И возмужавшей. И вот тогда ты закрываешь дверь в отработанное твоей душой и твоим воображением прошлое; оно уже ни в малейшей степени тебя не интересует, вернее, интересует лишь в беге строчек, в звучании фраз, которые только кажутся спонтанными…

«Он говорит, что в голову пришло. Ах, милый Августин, всё было, всё прошло…» (Семён Гринберг)

И потому, когда кто-то из интервьюеров просит меня рассказать о каком-либо этапе моей жизни, я отвечаю: «Не интересно, я уже всё описала.

Я описала это лучше, чем прожила».

Гений, он же злодейство

Но если творчество – процесс очищения души, то почему отнюдь не все писатели – просветлённые люди? Почему творчество не влияет на личность творца напрямую?

Николай Васильевич Гоголь, один из величайших стилистов, величайших художников русской прозы, после паломничества в Святую землю, куда стремился всей своей измученной душой, писал в одном из частных писем: «Был у Гроба Господня, а лучше не стал».

А ведь надеялся…

Творчество – это чистилище, а порою и настоящий ад, где ты ежедневно, схватив за вздыбленный клок волос на макушке, окунаешь и окунаешь себя в расплавленную магму геенны огненной; где с тебя клочьями слезает шкура, отшелушиваются язвы и струпья и откуда ты выползаешь чуть живой, но, мнится тебе, очищенный и иной, чем прежде.

Однако проходит ночь… и ты понимаешь: «лучше не стал»!

Человек не волен выскочить из своей оболочки. Эту банальную истину замечательно выразил Окуджава в своём «каждый пишет, как он дышит», и точнее не скажешь.

Мой излюбленный приём: герой долго-долго готовится к судьбоносной встрече, долго выстраивает план разговора, точно знает, что он скажет, что сделает, подготавливает к важному этапу мысли, нервы, всё своё существо… И затем без видимой причины совершает абсолютно противоположное по смыслу, по намерениям, по эмоциям и, соответственно, по результату действие.

Мой сын – человек трудный, с неудобным и парадоксальным характером. В общем, мы с ним похожи. Я бы сказала, что дело даже не в характере, а в непредсказуемых импульсах этого молодого человека. У нас с ним непростые отношения. Сейчас-то это серьёзный господин, глава двух отделов в крупной торговой фирме. А в юности покуролесил полной мерой, с большими долгами, большими грехами, большими скандалами и даже адвокатами… – в общем, погулял на славу. В минуты ярости я представляю собой фурию с одесского двора; лексикон мой далёк от младших классов советской школы. Весьма он далёк и от лучших страниц моей прозы. Домашние это знают, видали-слыхали, побаиваются таких всплесков и стараются под руку не попадаться. Ну а я, конечно, тоже стараюсь, как могу. И сын, куда деться, старается тоже – родные люди, надо стараться.

И вот перед очередной встречей, по намёкам, по обрывкам фраз в телефонной разведке боем уже понимая, что меня ждёт нечто очередное-катастрофическое, начинаю себя подготавливать, успокаивать и уговаривать. «Это будет беседа в английских традициях, – говорю я себе. – Ша, уймись! Это будет задушевный разговор мамы с любимым сыном. Ты же любишь своего сына, старая кошёлка, – интересуюсь я у себя, и себе же отвечаю: – Конечно, я люблю этого гада. Ну и прекрасно! Ты ни в коем случае не повысишь тона, выслушаешь его молча, не морщась, не показывая своего огорчения и своего бесконечного, бездонного отчаяния…»

«Ну, ты как?» – осторожно спрашивает меня муж.

«Я в полном порядке! – отвечаю бодро. – Холодна, как айсберг в океане».

Звонок в дверь, я иду открывать… Я – обратите внимание! – во всеоружии мудрости и сдержанности и распахнута для задушевной беседы. Открывается дверь, возникает эта физиономия… Эта бесстыжая физиономия!

«Ну что, говнюк, опять доигрался?!!» – кричу я.

Приём, повторяю, излюбленный, потому что его и приёмом не назовёшь: это – огненное тавро, проклятое клеймо моей собственной чёртовой натуры. Так я избываю свои боли, свою тоску, обыгрываю их в десятках сюжетных поворотов, в попытке избавиться от этой черты характера.

И ни от чего избавиться не в состоянии.

Прищепки для воображения

Люблю намёки, пометки судьбы – любые знаки, едва заметные такие стрелочки-указатели: «по теме романа такого-то – налево за углом». Их не всегда увидишь, но, когда видишь и понимаешь – что это, счастливо замираешь и даже едва заметно себе подмигиваешь: ага, я чувствовала, что сегодня это случится! Это всё то же платье голого короля, вернее, прищепки, с которыми это платье сушится. По сути дела, вся жизнь человека – цепочка таких вот знаков судьбы. Просто одни внимательны к подобным знакам, другие твердят о «совпадениях». Впрочем, каждый выбирает себе убеждения и даже ощущения по собственной мерке.

Вот ты случайно встречаешь на улице давнюю мамину сослуживицу. Ты торопишься, а досадная и никчёмная встреча тормозит тебя на пути к действительно важному делу. Но – чёртово восточное воспитание! – ты останавливаешься и минут пять выслушиваешь протухший старческий том воспоминаний. «А Машу помнишь? – говорит мамина подруга. – Машу, вашу соседку по коммуналке, у неё так странно глаза бегали? Так вот, её задушили, прямо в её комнате в коммуналке…» Я ахаю, вытаращиваю глаза, качаю головой – конечно, как я могла забыть Машу, очень противная тётка была. Подворовывала у нас крупу, я сама видела, как она отсыпала по горсточке. Выходит, её задушили, вон оно как интере-е-есно…

Настроение у меня почему-то подскакивает, хотя новость не так чтобы из приятных, верно? – неважно, кого там задушили…

Но тем же вечером ты аккуратно записываешь пару слов по этому поводу, на всякий случай. А спустя лет двадцать, работая над романом «На солнечной стороне улицы», лениво листаешь старые записные книжки и застываешь над тремя фразами, небрежно отчёркнутыми в уголке страницы. Этот момент, когда новая идея, новый поворот, выход из тупика брезжит перед тобой, – похож на резкий перепад сумрака и света. И внутренне ликуя, ты выбегаешь на свет, чтобы задушить давно забытую, но вдруг воскресшую Машу (а воскресла она лишь для того, чтобы её задушили!), и душишь её, душишь в той самой коммуналке – в романе, разумеется; только в романе «На солнечной стороне улицы»…

«Буря чувств», обнажение души и кружок самодеятельности

Время от времени ко мне обращаются какие-то юные лингвисты и не очень юные литературоведы, которые пишут по моим текстам курсовые, дипломы, диссертации и монографии. Они присылают мне вопросы «по творчеству», на которые я аккуратнейшим образом отвечаю, почему-то страшно жалея этих страдальцев – охота же копаться в нашем грязном производственном процессе. Чаще всего эти вопросы уныло повторяются: «Насколько личны описываемые вами переживания?»

«Личны вполне, – вздыхая, щёлкаю я по клавиатуре, – ведь описывая вымышленных героев, их мысли и чувства, я обязана прожить вместе с ними всю их жизнь. А это – очень личное, очень душевно затратное соучастие. Недаром Флобер писал: «Госпожа Бовари – это я», – имея в виду, разумеется, не буквальные факты жизни героини, а ту жизнь чувств, которую автор с героиней прожил и разделил. Если у писателя нет болезненно «личного» в каждом слове и в каждом повороте сюжета, то это провальная вещь.

При этом я имею в виду градус художественного проживания и убедительность образа. Когда писала повесть «Высокая вода венецианцев», я чувствовала, что умираю, и если поскорее не закончу эту работу, меня просто пожрёт рак моей героини.

И в то же время…

«А вам не западло обнажать душу перед столь внушительной аудиторией?» – спросил меня как-то по-свойски один юный наглец.

«С чего вы взяли, что в своих книгах я «обнажаю душу»?» – рассердилась я.

Но и задумалась…

Когда замечательный тенор поёт арию Каварадосси так, что слёзы текут по лицам слушателей в зале; когда рыдающий актёр в роли Отелло выходит на просцениум с задушенной им Дездемоной на руках; когда вы любуетесь пейзажем родной деревни на картине известного художника… – вы полагаете, что душа артиста, писателя и художника обнажена перед вами настолько, что можно читать по ней, рассуждать о ней и препарировать её?! Отнюдь! Перед вами, прежде всего, продукт дарования мастерства и стиля, – иными словами, произведение искусства, которое, отрываясь от творца, начинает существовать совершенно самостоятельно, к его душе имея весьма опосредованное отношение.

Настоящий профессионал – всегда вещь в себе. Он может достигать в профессии изрядных высот, но его частная жизнь и, главное, жизнь его души редко становятся достоянием общественности.

Я вспоминаю интервью с замечательной актрисой Светланой Крючковой, которое услышала, случайно включив в машине радио. Крючкова в то время была с гастролями в Израиле, и журналистка спрашивала её как раз о личных переживаниях в те минуты, когда она играет «бурю эмоций» своей героини – ведь душевные затраты артиста, ежедневное обнажение чувств… что-то в этом роде. Крючкова, помнится, ответила: «Ну что вы! «Буря чувств» – это для любителей. Для кружка самодеятельности швейной фабрики. Я же – профессионал. И если в спектакле в семь тридцать моя героиня должна заплакать, то она заплачет горючими слезами, даже если за пять минут до выхода я за кулисами рассказывала партнёру анекдот».

Отважная женщина, отважная актриса. Не каждый рискнёт рассказать такое зрителям. Не все это примут, многие будут шокированы. А ведь всё это укладывается в одно только слово: профессия.

«Берётся Мэри…», или Как приготовить пикантный соус из своей постной биографии

Забавно, когда журналист с разбегу накидывает тебе вопросы, типа: где вы находите сюжеты для своих книг? как понимаете, о чём писать, и как это делаете? – ответом на которые, по-хорошему, должен быть курс лекций о физиологии и психологии писательского сознания. Но я – добросовестный человек! – всегда пытаюсь честно и доброжелательно ответить.

«О чём писать» и «как это делать» – вещи такие же разные, как «купить машину» и «ездить на ней». О чём писать, знают многие люди, они же не преминут дать вам совет. Самая распространённая фраза, которую слышу я в разговоре с любым собеседником почтенного возраста: «Эх, вам бы о моей жизни роман написать! Загребли бы миллионы левой ногой». Любой престарелый бухгалтер станкостроительного завода в Челябинске (если таковой завод существует) хотел бы запечатлеть для потомков великие деяния своей единственной жизни.

Вот «как это делать?»… тут правильнее всего ответить анекдотом: «Как приготовить коктейль «Кровавая Мэри?» – «Берётся Мэри…»

Между тем вопрос о том, как перемалывается реальность в художественное произведение, чрезвычайно интересен.

Это похоже на принцип строительства мозгом наших сновидений: вы идёте по какой-то разбитой дороге с тяжёлым чемоданом без ручки, который не можете бросить, и знаете, что должны успеть на самолёт, что вылетает в Курск ночным рейсом. Как только возникает «ночной рейс», в сновидении кто-то щёлкает выключателем, и тусклый фонарь под железным колпаком времён вашего детства освещает придорожные кусты, помойку и скамейки в парке Горького. Во сне появляется соблазн бежать в другую сторону, по другой тропинке, которая ведёт к бабушкиному дому возле Алайского рынка… Но вдруг вы уже в аэропорту, и всё хорошо, если не считать, что на вас разные туфли. И тут вы замечаете свою одноклассницу Галю Фокину, с которой учились в музыкальной школе в Ташкенте, а потом она переместилась в кибуц в Верхней Галилее. «Галя! – кричите вы, радуясь встрече, – одолжи мне свой правый туфель, смотри,

он совершенно идентичен моему левому…»

И так далее… Извлечение из густого беспокойного клубка памяти «клеток» для строительства прозы похоже на сотворение нашим сознанием снов: реально существуют Курск, аэропорт, две пары (и даже гораздо больше!) туфель, существует одноклассница Галя… Но вся ирреальная действительность рождена вашим воображением, а туфли, несмотря на свою вещественность – хоть руками потрогай, настоящие! – не дают ещё оснований Гале посягать на плод вашего сна, то бишь вашего воображения, вашего пера, – словом, на то, что называется иной реальностью.

Есть ещё интуитивный способ сотворения текста. Был такой философ школы сократиков – Алексин (не анатолийский!), который учил, что «мир поэтичен и соответствует грамматике» – очень точное умозаключение. Помните, как подманивал вдохновение Иван Алексеевич Бунин? Он садился и писал на листе бумаги: «Иван Бунин… Иван Бунин… Иван Бунин…» И постепенно возникала фраза, вела за собой другую, сцеплялась с третьей. Промежутки между словами рождали некий рисунок…

Тут уместно привести слова Теофиля Готье, где-то мною уже приводимые:

«Я писатель. Я должен знать своё ремесло. Вот передо мной бумага: я словно клоун на трамплине. А потом, я очень хорошо знаю синтаксис. Я бросаю фразы в воздух, словно кошек, я уверен, что они встанут на свои лапки. Это очень просто, нужно только знать синтаксис, – который не в содержании слов, а в интонационном рисунке, в артикуляции, расстановке, в чередовании пауз между словами. Синтаксические фигуры суть именно фигуры

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/dina-rubina/odinokiy-pishuschiy-chelovek

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити